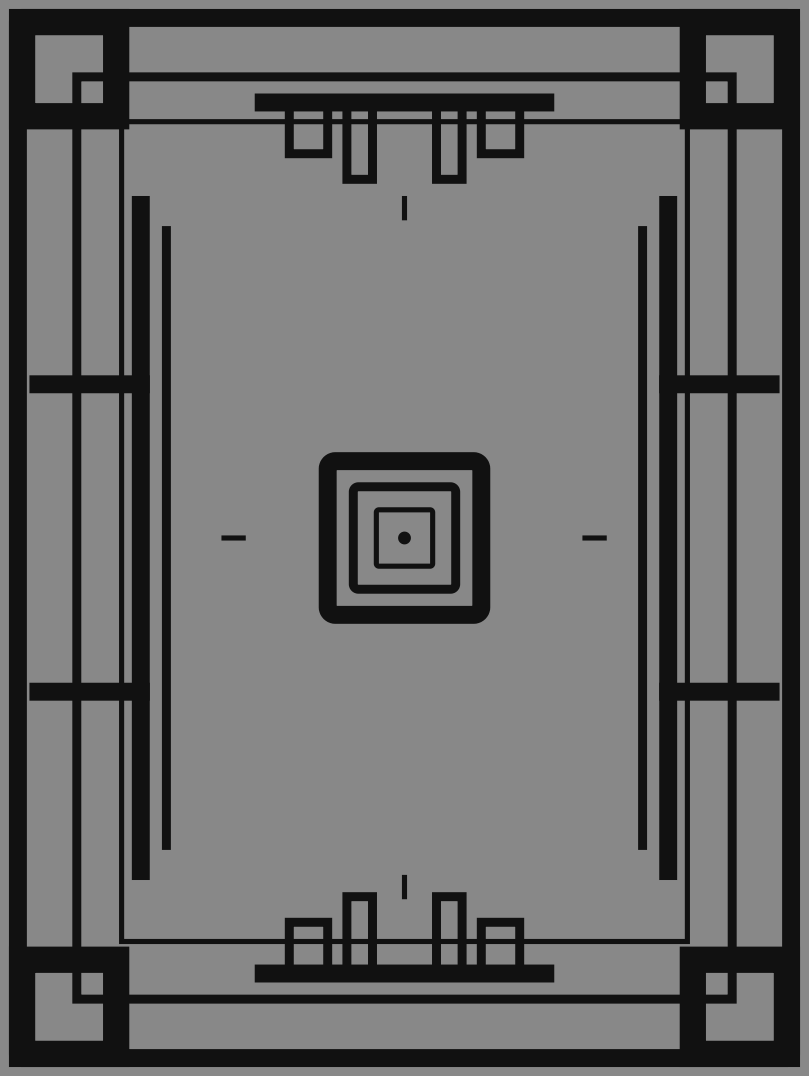

Иуда Искариот (сборник)
Леонид Николаевич Андреев

Аннотация
Леонид Андреев. Иуда Искариот (сборник)
Иуда Искариот
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Из рассказа, который никогда не будет окончен
Рассказ о семи повешенных
1. В час дня, ваше превосходительство
2. К смертной казни через повешение
3. Меня не надо вешать
4. Мы, орловские
5. Поцелуй – и молчи
6. Часы бегут
7. Смерти нет
8. Есть и смерть, есть и жизнь

9. Ужасное одиночество
10. Стены падают
11. Их везут
12. Их привезли
Иван Иванович
I
II
Смерть Гулливера
Он
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Аннотация

Леонид Андреев (1871–1919) – один из величайших русских писателей Серебряного века, создавший ряд в равной степени значительных произведений как в реалистической, так и в символической прозе.

В этот сборник вошли рассказы, созданные в разные периоды и написанные в разной стилистической и жанровой манере.

Леонид Андреев
Иуда Искариот (сборник)

Иуда Искариот

I

Иисуса Христа много раз предупреждали, что Иуда из Кариота — человек очень дурной славы и его нужно остерегаться. Одни из учеников, бывавшие в Иудее, хорошо знали его сами, другие много слыхали о нем от людей, и не было никого, кто мог бы сказать о нем доброе слово. И если порицали его добрые, говоря, что Иуда корыстолюбив, коварен, наклонен к притворству и лжи, то и дурные, которых расспрашивали об Иуде, поносили его самыми жестокими словами. «Он ссорит нас постоянно, — говорили они, отплевываясь, — он думает что-то свое и в дом влезает тихо, как скорпион, а выходит из него с шумом. И у воров есть друзья, и у грабителей есть товарищи, и у лжецов есть жены, которым говорят они правду, а Иуда смеется над ворами, как и над честными, хотя сам крадет искусно, и видом своим безобразнее всех жителей в Иудее. Нет, не наш он, этот рыжий Иуда из Кариота», — говорили дурные, удивляя этим людей добрых, для которых не было большой разницы между ним и всеми остальными порочными людьми Иудеи.

Рассказывали далее, что свою жену Иуда бро-

сил давно, и живет она несчастная и голодная, безуспешно стараясь из тех трех камней, что составляют поместье Иуды, выжать хлеб себе на пропитание. Сам же он много лет шатается бессмысленно в народе и доходил даже до одного моря и до другого моря, которое еще дальше; и всюду он лжет, кривляется, зорко высматривает что-то своим воровским глазом; и вдруг уходит внезапно, оставляя по себе неприятности и ссору — любопытный, лукавый и злой, как одноглазый бес. Детей у него не было, и это еще раз говорило, что Иуда — дурной человек и не хочет Бог потомства от Иуды.

Никто из учеников не заметил, когда впервые оказался около Христа этот рыжий и безобразный иудей; но уж давно неотступно шел он по ихнему пути, вмешивался в разговоры, оказывал маленькие услуги, кланялся, улыбался и заискивал. И то совсем привычен он становился, обманывая утомленное зрение, то вдруг бросался в глаза и в уши, раздражая их, как нечто невиданно-безобразное, лживое и омерзительное. Тогда суровыми словами отгоняли его, и на короткое время он пропадал где-то у дороги, — а потом снова незаметно появлялся, услужливый, льстивый и хитрый, как одноглазый бес. И не было сомне-

ния для некоторых из учеников, что в желании его приблизиться к Иисусу скрывалось какое-то тайное намерение, был злой и коварный расчет.

Но не послушал их советов Иисус; не коснулся его слуха их пророческий голос. С тем духом светлого противоречия, который неудержимо влек его к отверженным и нелюбимым, он решительно принял Иуду и включил его в круг избранных. Ученики волновались и сдержанно роптали, а он тихо сидел, лицом к заходящему солнцу, и слушал задумчиво, может быть, их, а может быть, и что-нибудь другое. Уж десять дней не было ветра, и все тот же оставался, не двигаясь и не меняясь, прозрачный воздух, внимательный и чуткий. И казалось, будто бы сохранил он в своей прозрачной глубине все то, что кричалось и пелось в эти дни людьми, животными и птицами, — слезы, плач и веселую песню, молитву и проклятия; и от этих стеклянных, застывших голосов был он такой тяжелый, тревожный, густо насыщенный незримой жизнью. И еще раз заходило солнце. Тяжело пламенеющим шаром скатывалось оно книзу, зажигая небо; и все на земле, что было обращено к нему: смуглое лицо Иисуса, стены домов и листья деревьев, — все покорно отражало тот далекий и страшно задумчивый свет. Белая

стена уже не была белою теперь, и не остался белым красный город на красной горе.

И вот пришел Иуда.

Пришел он, низко кланяясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперед свою безобразную бугроватую голову — как раз такой, каким представляли его знающие. Он был худощав, хорошего роста, почти такого же, как Иисус, который слегка сутулился от привычки думать при ходьбе и от этого казался ниже; и достаточно крепок силою был он, по-видимому, но зачем-то притворялся хилым и болезненным и голос имел переменчивый: то мужественный и сильный, то крикливый, как у старой женщины, ругающей мужа, досадно-жидкий и неприятный для слуха; и часто слова Иуды хотелось вытащить из своих ушей, как гнилые, шероховатые занозы. Короткие рыжие волосы не скрывали странной и необыкновенной формы его черепа: точно разрубленный с затылка двойным ударом меча и вновь составленный, он явственно делился на четыре части и внушал недоверие, даже тревогу: за таким черепом не может быть тишины и согласия, за таким черепом всегда слышится шум кровавых и беспощадных битв. Двоилось также и лицо Иуды: одна сторона его, с черным,

остро высматривающим глазом, была живая, подвижная, охотно собиравшаяся в многочисленные кривые морщинки. На другой же не было морщин, и была она мертвенно-гладкая, плоская и застывшая; и хотя по величине она равнялась первой, но казалась огромною от широко открытого слепого глаза. Покрытый белесой мутью, не смыкающийся ни ночью, ни днем, он одинаково встречал и свет и тьму; но оттого ли, что рядом с ним был живой и хитрый товарищ, не верилось в его полную слепоту. Когда в припадке робости или волнения Иуда закрывал свой живой глаз и качал головой, этот качался вместе с движениями головы и молчаливо смотрел. Даже люди, совсем лишенные проницательности, ясно понимали, глядя на Искариота, что такой человек не может принести добра, а Иисус приблизил его и даже рядом с собою — рядом с собою посадил Иуду.

Брезгливо отодвинулся Иоанн, любимый ученик, и все остальные, любя учителя своего, неодобрительно потупились. А Иуда сел — и, двигая головою направо и налево, тоненьким голоском стал жаловаться на болезни, на то, что у него болит грудь по ночам, что, всходя на горы, он задыхается, а стоя у края пропасти, испытывает головокружение и едва удерживается от глупого

желания броситься вниз. И многое другое безбожно выдумывал он, как будто не понимая, что болезни приходят к человеку не случайно, а родятся от несоответствия поступков его с заветами Предвечного. Потирал грудь широкою ладонью и даже кашлял притворно этот Иуда из Кариота при общем молчании и потупленных взорах.

Иоанн, не глядя на учителя, тихо спросил Петра Симонова, своего друга:

— Тебе не наскучила эта ложь? Я не могу дольше выносить ее и уйду отсюда.

Петр взглянул на Иисуса, встретил его взор и быстро встал.

— Подожди! — сказал он другу.

Еще раз взглянул на Иисуса, быстро, как камень, оторванный от горы, двинулся к Иуде Искариоту и громко сказал ему с широкой и ясной приветливостью:

— Вот и ты с нами, Иуда.

Ласково похлопал его рукою по согнутой спине и, не глядя на учителя, но чувствуя на себе взор его, решительно добавил своим громким голосом, вытеснявшим всякие возражения, как вода вытесняет воздух:

— Это ничего, что у тебя такое скверное лицо: в наши сети попадаются еще и не такие уроди-

ны, а при еде-то они и есть самые вкусные. И не нам, рыбарям Господа нашего, выбрасывать улов только потому, что рыба колюча и одноглаза. Я видел однажды в Тире осьминога, пойманного тамошними рыбаками, и так испугался, что хотел бежать. А они посмеялись надо мною, рыбаком из Тивериады, и дали мне поесть его, и я попросил еще, потому что было очень вкусно. Помнишь, учитель, я рассказывал тебе об этом, и ты тоже смеялся. А ты, Иуда, похож на осьминога — только одною половиною.

И громко захохотал, довольный своею шуткой. Когда Петр что-нибудь говорил, слова его звучали так твердо, как будто он прибивал их гвоздями. Когда Петр двигался или что-нибудь делал, он производил далеко слышный шум и вызывал ответ у самых глухих вещей: каменный пол гудел под его ногами, двери дрожали и хлопали, и самый воздух пугливо вздрагивал и шумел. В ущельях гор его голос будил сердитое эхо, а по утрам на озере, когда ловили рыбу, он кругло перекатывался по сонной и блестящей воде и заставлял улыбаться первые робкие солнечные лучи. И, вероятно, они любили за это Петра: на всех других лицах еще лежала ночная тень, а его крупная голова, и широкая обнаженная грудь,

и свободно закинутые руки уже горели в зареве восхода.

Слова Петра, видимо одобренные учителем, рассеяли тягостное состояние собравшихся. Но некоторых, также бывавших у моря и видевших осьминога, смутил его чудовищный образ, приуроченный Петром столь легкомысленно к новому ученику. Им вспомнились: огромные глаза, десятки жадных щупальцев, притворное спокойствие, — и раз! — обнял, облил, раздавил и высосал, ни разу не моргнувши огромными глазами. Что это? Но Иисус молчит, Иисус улыбается и исподлобья с дружеской насмешкой смотрит на Петра, продолжающего горячо рассказывать об осьминоге, — и один за другим подходили к Иуде смущенные ученики, заговаривали ласково, но отходили быстро и неловко.

И только Иоанн Зеведеев упорно молчал, да Фома, видимо, не решался ничего сказать, обдумывая происшедшее. Он внимательно разглядывал Христа и Иуду, сидевших рядом, и эта странная близость божественной красоты и чудовищного безобразия, человека с кротким взором и осьминога с огромными, неподвижными, тускло-жадными глазами угнетала его ум, как неразрешимая загадка. Он напряженно мор-

щил прямой, гладкий лоб, щурил глаза, думая, что так будет видеть лучше, но добивался только того, что у Иуды как будто и вправду появлялись восемь беспокойно шевелящихся ног. Но это было неверно. Фома понимал это и снова упорно смотрел.

А Иуда понемногу осмеливался: расправил руки, согнутые в локтях, ослабил мышцы, державшие его челюсти в напряжении, и осторожно начал выставлять на свет свою бугроватую голову. Она и раньше была у всех на виду, но Иуде казалось, что она глубоко и непроницаемо скрыта от глаз какой-то невидимой, но густою и хитрою пеленою. И вот теперь, точно вылезая из ямы, он чувствовал на свету свой странный череп, потом глаза — остановился — решительно открыл все свое лицо. Ничего не произошло. Петр ушел куда-то; Иисус сидел задумчиво, опершись головою на руку, и тихо покачивал загорелой ногою; ученики разговаривали между собой, и только Фома внимательно и серьезно рассматривал его как добросовестный портной, снимающий мерку. Иуда улыбнулся — Фома не ответил на улыбку, но, видимо, принял ее в расчет, как и все остальное, и продолжал разглядывать. Но что-то неприятное тревожило левую сторону Иудина

лица, — оглянулся: на него из темного угла холодными и красивыми очами смотрит Иоанн, красивый, чистый, не имеющий ни одного пятна на снежно-белой совести. И, идя, как и все ходят, но чувствуя так, будто он волочится по земле, подобно наказанной собаке, Иуда приблизился к нему и сказал:

— Почему ты молчишь, Иоанн? Твои слова как золотые яблоки в прозрачных серебряных сосудах, подари одно из них Иуде, который так беден.

Иоанн пристально смотрел в неподвижный, широко открытый глаз и молчал. И видел, как отполз Иуда, помедлил нерешительно и скрылся в темной глубине открытой двери.

Так как встала полная луна, то многие пошли гулять. Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкою и неторопливою и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени; и вдруг человек пропадал в чем-то черном, и тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими — как белые стены, как черные тени, как вся прозрачно-мглистая ночь. Уже почти все спали,

когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И все стихло в доме и вокруг него. Пропел петух; обиженно и громко, как днем, закричал где-то проснувшийся осел и неохотно, с перерывами умолк. А Иуда все не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и, как в замерзшем озере, отразилась странно в огромном открытом глазу.

Вдруг он что-то вспомнил и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую, здоровую грудь: быть может, кто-нибудь еще не спит и слушает, что думает Иуда.

II

Постепенно к Иуде привыкли и перестали замечать его безобразие. Иисус поручил ему денежный ящик, и вместе с этим на него легли все хозяйственные заботы: он покупал необходимую пищу и одежду, раздавал милостыню, а во время странствований приискивал место для остановки и ночлега. Все это он делал очень искусно, так что в скором времени заслужил расположение некоторых учеников, видевших его старания. Лгал Иуда постоянно, но и к этому привыкли, так как не видели за ложью дурных поступков, а разговору Иуды и его рассказам она придавала особенный интерес и делала жизнь похожею на смешную, а иногда и страшную сказку.

По рассказам Иуды выходило так, будто он знает всех людей, и каждый человек, которого он знает, совершил в своей жизни какой-нибудь дурной поступок или даже преступление. Хорошими же людьми, по его мнению, называются те, которые умеют скрывать свои дела и мысли; но если такого человека обнять, приласкать и выспросить хорошенько, то из него потечет, как гной из проколотой раны, всякая неправда,

мерзость и ложь. Он охотно сознавался, что иногда лжет и сам, но уверял с клятвою, что другие лгут еще больше, и если есть в мире кто-нибудь обманутый, так это он, Иуда. Случалось, что некоторые люди по многу раз обманывали его и так и этак. Так, некий хранитель сокровищ у богатого вельможи сознался ему однажды, что уж десять лет непрестанно хочет украсть вверенное ему имущество, но не может, так как боится вельможи и своей совести. И Иуда поверил ему, — а он вдруг украл и обманул Иуду. Но и тут Иуда ему поверил, — а он вдруг вернул украденное вельможе и опять обманул Иуду. И все обманывают его, даже животные: когда он ласкает собаку, она кусает его за пальцы, а когда он бьет ее палкой — она лижет ему ноги и смотрит в глаза, как дочь. Он убил эту собаку, глубоко зарыл ее и даже заложил большим камнем, но кто знает? Может быть, оттого, что он ее убил, она стала еще более живою и теперь не лежит в яме, а весело бегает с другими собаками.

Все весело смеялись на рассказ Иуды, и сам он приятно улыбался, щуря свой живой и насмешливый глаз, и тут же, с тою же улыбкой сознавался, что немного солгал: собаки этой он не убивал. Но он найдет ее непременно и непременно убьет,

потому что не желает быть обманутым. И от этих слов Иуды смеялись еще больше.

Но иногда в своих рассказах он переходил границы вероятного и правдоподобного и приписывал людям такие наклонности, каких не имеет даже животное, обвинял в таких преступлениях, каких не было и никогда не бывает. И так как он называл при этом имена самых почтенных людей, то некоторые возмущались клеветою, другие же шутливо спрашивали:

— Ну, а твои отец и мать, Иуда, не были ли они хорошие люди?

Иуда прищуривал глаз, улыбался и разводил руками. И вместе с покачиванием головы качался его застывший, широко открытый глаз и молчаливо смотрел.

— А кто был мой отец? Может быть, тот человек, который бил меня розгой, а может быть, и дьявол, и козел, и петух. Разве может Иуда знать всех, с кем делила ложе его мать? У Иуды много отцов; про которого вы говорите?

Но тут возмущались все, так как сильно почитали родителей, и Матфей, весьма начитанный в Писании, строго говорил словами Соломона:

— Кто злословит отца своего и мать свою, того светильник погаснет среди глубокой тьмы.

Иоанн же Зеведеев надменно бросал:

— Ну, а мы? Что о нас дурного скажешь ты, Иуда из Кариота?

Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, тщетно выпрашивающий подаяния у прохожего:

— Ах, искушают бедного Иуду! Смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!

И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьезно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками Искариота Петр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален и поспешно отвел Иуду в сторону, таща его за рукав.

— А Иисус? Что ты думаешь об Иисусе? — наклонившись, спросил он громким шепотом. — Только не шути, прошу тебя.

Иуда злобно взглянул на него:

— А ты что думаешь?

Петр испуганно и радостно прошептал:

— Я думаю, что он — сын Бога живого.

— Зачем же ты спрашиваешь? Что может тебе сказать Иуда, у которого отец козел!

— Но ты его любишь? Ты как будто никого не

любишь, Иуда.

С той же странной злобою Искариот бросил отрывисто и резко:

— Люблю.

После этого разговора Петр дня два громко называл Иуду своим другом-осьминогом, а тот неповоротливо и все так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в темный угол и там сидел угрюмо, светлея своим белым несмыкающим глазом.

Вполне серьезно слушал Иуду один только Фома: он не понимал шуток, притворства и лжи, игры словами и мыслями и во всем доискивался основательного и положительного. И все рассказы Искариота о дурных людях и поступках он часто перебивал короткими деловыми замечаниями:

— Это нужно доказать. Ты сам это слышал? А кто еще был при этом, кроме тебя? Как его зовут?

Иуда раздражался и визгливо кричал, что он все это сам видел и сам слышал, но упрямый Фома продолжал допрашивать неотвязчиво и спокойно, пока Иуда не сознавался, что солгал, или не сочинял новой правдоподобной лжи, над которою тот надолго задумывался. И, найдя ошибку, немедленно приходил и равнодушно уличал

лжеца. Вообще Иуда возбуждал в нем сильное любопытство, и это создало между ними что-то вроде дружбы, полной крика, смеха и ругательств — с одной стороны, и спокойных, настойчивых вопросов — с другой. Временами Иуда чувствовал нестерпимое отвращение к своему странному другу и, пронизывая его острым взглядом, говорил раздраженно, почти с мольбою:

— Но чего ты хочешь? Я все сказал тебе, все.

— Я хочу, чтобы ты доказал, как может быть козел твоим отцом? — с равнодушной настойчивостью допрашивал Фома и ждал ответа.

Случилось, что после одного из таких вопросов Иуда вдруг замолчал и удивленно с ног до головы ощупал его глазом: увидел длинный, прямой стан, серое лицо, прямые прозрачно-светлые глаза, две толстые складки, идущие от носа и пропадающие в жесткой, ровно подстриженной бороде, и убедительно сказал:

— Какой ты глупый, Фома! Ты что видишь во сне: дерево, стену, осла?

И Фома как-то странно смутился и ничего не возразил. А ночью, когда Иуда уже заволакивал для сна свой живой и беспокойный глаз, он вдруг громко сказал с своего ложа — они оба спали теперь вместе на кровле:

— Ты не прав, Иуда. Я вижу очень дурные сны. Как ты думаешь: за свои сны также должен отвечать человек?

— А разве сны видит кто-нибудь другой, а не он сам?

Фома тихо вздохнул и задумался. А Иуда презрительно улыбнулся, плотно закрыл свой воровской глаз и спокойно отдался своим мятежным снам, чудовищным грезам, безумным видениям, на части раздиравшим его бугроватый череп.

Когда, во время странствований Иисуса по Иудее, путники приближались к какому-нибудь селению, Искариот рассказывал дурное о жителях его и предвещал беду. Но почти всегда случалось так, что люди, о которых говорил он дурно, с радостью встречали Христа и его друзей, окружали их вниманием и любовью и становились верующими, а денежный ящик Иуды делался так полон, что трудно было его нести. И тогда над его ошибкой смеялись, а он покорно разводил руками и говорил:

— Так! Так! Иуда думал, что они плохие, а они хорошие: и поверили быстро, и дали денег. Опять, значит, обманули Иуду, бедного, доверчивого Иуду из Кариота!

Но как-то раз, уже далеко отойдя от селения,

встретившего их радушно, Фома и Иуда горячо заспорили и, чтобы решить спор, вернулись обратно. Только на другой день догнали они Иисуса с учениками, и Фома имел вид смущенный и грустный, а Иуда глядел так гордо, как будто ожидал, что вот сейчас все начнут его поздравлять и благодарить. Подойдя к учителю, Фома решительно заявил:

— Иуда прав, Господи. Это были злые и глупые люди, и на камень упало семя твоих слов.

И рассказал, что произошло в селении. Уж после ухода из него Иисуса и его учеников одна старая женщина начала кричать, что у нее украли молоденького беленького козленка, и обвинила в покраже ушедших. Вначале с нею спорили, а когда она упрямо доказывала, что больше некому было украсть, как Иисусу, то многие поверили и даже хотели пуститься в погоню. И хотя вскоре нашли козленка запутавшимся в кустах, но все-таки решили, что Иисус обманщик и, может быть, даже вор.

— Так вот как! — вскричал Петр, раздувая ноздри. — Господи, хочешь, я вернусь к этим глупцам и…

Но молчавший все время Иисус сурово взглянул на него, и Петр замолчал и скрылся сзади,

за спинами других. И уже никто больше не заговаривал о происшедшем, как будто ничего не случилось совсем и как будто не прав оказался Иуда. Напрасно со всех сторон показывал он себя, стараясь сделать скромным свое раздвоенное, хищное, с крючковатым носом лицо, — на него не глядели, а если кто и взглядывал, то очень недружелюбно, даже с презрением как будто.

И с этого же дня как-то странно изменилось к нему отношение Иисуса. И прежде почему-то было так, что Иуда никогда не говорил прямо с Иисусом, и тот никогда прямо не обращался к нему, но зато часто взглядывал на него ласковыми глазами, улыбался на некоторые его шутки, и если долго не видел, то спрашивал: а где же Иуда? А теперь глядел на него, точно не видя, хотя по-прежнему, — и даже упорнее, чем прежде, — искал его глазами всякий раз, как начинал говорить к ученикам или к народу, но или садился к нему спиною и через голову бросал слова свои на Иуду, или делал вид, что совсем его не замечает. И что бы он ни говорил, хотя бы сегодня одно, а завтра совсем другое, хотя бы даже то самое, что думает и Иуда, — казалось, однако, что он всегда говорит против Иуды. И для всех он был нежным и прекрасным цветком,

благоухающей розою ливанскою, а для Иуды оставлял одни только острые шипы — как будто нет сердца у Иуды, как будто глаз и носа нет у него и не лучше, чем все, понимает он красоту нежных и беспорочных лепестков.

— Фома! Ты любишь желтую ливанскую розу, у которой смуглое лицо и глаза, как у серны? — спросил он своего друга однажды, и тот равнодушно ответил:

— Розу? Да, мне приятен ее запах. Но я не слыхал, чтобы у роз были смуглые лица и глаза, как у серны.

— Как? Ты не знаешь и того, что у многорукого кактуса, который вчера разорвал твою новую одежду, один только красный цветок и один только глаз?

Но и этого не знал Фома, хотя вчера кактус действительно вцепился в его одежду и разорвал ее на жалкие клочки. Он ничего не знал, этот Фома, хотя обо всем расспрашивал, и смотрел так прямо своими прозрачными и ясными глазами, сквозь которые, как сквозь финикийское стекло, было видно стену позади его и привязанного к ней понурого осла.

Произошел некоторое время спустя и еще один случай, в котором опять-таки правым оказался

Иуда. В одном иудейском селении, которое он настолько не хвалил, что даже советовал обойти его стороною, Христа приняли очень враждебно, а после проповеди его и обличения лицемеров пришли в ярость и хотели побить камнями его и учеников. Врагов было много, и, несомненно, им удалось бы осуществить свое пагубное намерение, если бы не Иуда из Кариота. Охваченный безумным страхом за Иисуса, точно видя уже капли крови на его белой рубашке, Иуда яростно и слепо бросался на толпу, грозил, кричал, умолял и лгал, и тем дал время и возможность уйти Иисусу и ученикам. Разительно проворный, как будто он бегал на десятке ног, смешной и страшный в своей ярости и мольбах, он бешено метался перед толпою и очаровывал ее какой-то странной силой. Он кричал, что вовсе не одержим бесом Назарей, что он просто обманщик, вор, любящий деньги, как и все его ученики, как и сам Иуда, — потрясал денежным ящиком, кривлялся и молил, припадая к земле. И постепенно гнев толпы перешел в смех и отвращение, и опустились поднятые с каменьями руки.

— Недостойны эти люди, чтобы умереть от руки честного, — говорили одни, в то время как другие задумчиво провожали глазами быстро

удалявшегося Иуду.

И снова ожидал Иуда поздравлений, похвал и благодарности, и выставлял на вид свою изодранную одежду, и лгал, что били его, — но и на этот раз был он непонятно обманут. Разгневанный Иисус шел большими шагами и молчал, и даже Иоанн с Петром не осмеливались приблизиться к нему; и все, кому попадался на глаза Иуда в изодранной одежде, с своим счастливо-возбужденным, но все еще немного испуганным лицом, отгоняли его от себя короткими и гневными восклицаниями. Как будто не он спас их всех, как будто не он спас их учителя, которого они так любят.

— Ты хочешь видеть глупцов? — сказал он Фоме, задумчиво шедшему сзади. — Посмотри: вот идут они по дороге, кучкой, как стадо баранов, и подымают пыль. А ты, умный Фома, плетешься сзади, а я, благородный, прекрасный Иуда, плетусь сзади, как грязный раб, которому не место рядом с господином.

— Почему ты называешь себя прекрасным? — удивился Фома.

— Потому что я красив, — убежденно ответил Иуда и рассказал, многое прибавляя, как он обманул врагов Иисуса и посмеялся над ними и их

глупыми каменьями.

— Но ты солгал! — сказал Фома.

— Ну да, солгал, — согласился спокойно Искариот. — Я им дал то, что они просили, а они вернули то, что мне нужно. И что такое ложь, мой умный Фома? Разве не большею ложью была бы смерть Иисуса?

— Ты поступил нехорошо. Теперь я верю, что отец твой — дьявол. Это он научил тебя, Иуда.

Лицо Искариота побелело и вдруг как-то быстро надвинулось на Фому — словно белое облако нашло и закрыло дорогу и Иисуса. Мягким движением Иуда так же быстро прижал его к себе, прижал сильно, парализуя движения, и зашептал в ухо:

— Значит, дьявол научил меня? Так, так, Фома. А я спас Иисуса? Значит, дьявол любит Иисуса, значит, дьяволу нужен Иисус и правда? Так, так, Фома. Но ведь мой отец не дьявол, а козел. Может, и козлу нужен Иисус? Хе? А вам он не нужен, нет? И правда не нужна?

Рассерженный и слегка испуганный Фома с трудом вырвался из липких объятий Иуды и быстро зашагал вперед, но вскоре замедлил шаги, стараясь понять происшедшее.

А Иуда тихонько плелся сзади и понемногу

отставал. Вот в отдалении смешались в пеструю кучку идущие, и уж нельзя было рассмотреть, которая из этих маленьких фигурок Иисус. Вот и маленький Фома превратился в серую точку — и внезапно все пропали за поворотом. Оглянувшись, Иуда сошел с дороги и огромными скачками спустился в глубину каменистого оврага. От быстрого и порывистого бега платье его раздувалось и руки взмывали вверх, как для полета. Вот на обрыве он поскользнулся и быстро серым комком скатился вниз, обдираясь о камни, вскочил и гневно погрозил горе кулаком:

— Ты еще, проклятая!..

И, внезапно сменив быстроту движений угрюмой и сосредоточенной медленностью, выбрал место у большого камня и сел неторопливо. Повернулся, точно ища удобного положения, приложил руки, ладонь с ладонью, к серому камню и тяжело прислонился к ним головою. И так час и два сидел он, не шевелясь и обманывая птиц, неподвижный и серый, как сам серый камень. И впереди его, и сзади, и со всех сторон поднимались стены оврага, острой линией обрезая края синего неба; и всюду, впиваясь в землю, высились огромные серые камни — словно прошел здесь когда-то каменный дождь и в

бесконечной думе застыли его тяжелые капли. И на опрокинутый, обрубленный череп похож был этот дико-пустынный овраг, и каждый камень в нем был как застывшая мысль, и их было много, и все они думали — тяжело, безгранично, упорно.

Вот дружелюбно проковылял возле Иуды на своих шатких ногах обманутый скорпион. Иуда взглянул на него, не отнимая от камня головы, и снова неподвижно остановились на чем-то его глаза, оба неподвижные, оба покрытые белесою странною мутью, оба точно слепые и страшно зрячие. Вот из земли, из камней, из расселин стала подниматься спокойная ночная тьма, окутала неподвижного Иуду и быстро поползла вверх — к светлому побледневшему небу. Наступила ночь с своими мыслями и снами.

В эту ночь Иуда не вернулся на ночлег, и ученики, оторванные от дум своих хлопотами о пище и питье, роптали на его нерадивость.

III

Однажды, около полудня, Иисус и ученики его проходили по каменистой и горной дороге, лишенной тени, и так как уже более пяти часов находились в пути, то начал Иисус жаловаться на усталость. Ученики остановились, и Петр с другом своим Иоанном разостлали на земле плащи свои и других учеников, сверху же укрепили их между двумя высокими камнями, и таким образом сделали для Иисуса как бы шатер. И он возлег в шатре, отдыхая от солнечного зноя, они же развлекали его веселыми речами и шутками. Но, видя, что и речи утомляют его, сами же будучи мало чувствительны к усталости и жару, удалились на некоторое расстояние и предались различным занятиям. Кто по склону горы между камнями разыскивал съедобные корни и, найдя, приносил Иисусу; кто, взбираясь все выше и выше, искал задумчиво границ голубеющей дали и, не находя, поднимался на новые островерхие камни. Иоанн нашел между камней красивую, голубенькую ящерицу и в нежных ладонях, тихо смеясь, принес ее Иисусу; и ящерица смотрела своими выпуклыми, загадочными глазами в его

глаза, а потом быстро скользнула холодным тельцем по его теплой руке и быстро унесла куда-то свой нежный, вздрагивающий хвостик.

Петр же, не любивший тихих удовольствий, а с ним Филипп занялись тем, что отрывали от горы большие камни и пускали их вниз, состязаясь в силе. И, привлеченные их громким смехом, понемногу собрались вокруг них остальные и приняли участие в игре. Напрягаясь, они отдирали от земли старый, обросший камень, поднимали его высоко обеими руками и пускали по склону. Тяжелый, он ударялся коротко и тупо и на мгновение задумывался; потом нерешительно делал первый скачок — и с каждым прикосновением к земле, беря от нее быстроту и крепость, становился легкий, свирепый, всесокрушающий. Уже не прыгал, а летел он с оскаленными зубами, и воздух, свистя, пропускал его тупую, круглую тушу. Вот край, — плавным последним движением камень взмывал кверху и спокойно, в тяжелой задумчивости, округло летел вниз, на дно невидимой пропасти.

— Ну-ка, еще один! — кричал Петр. Белые зубы его сверкали среди черной бороды и усов, мощная грудь и руки обнажились, и старые сердитые камни, тупо удивляясь поднимающей их силе,

один за другим покорно уносились в бездну. Даже хрупкий Иоанн бросал небольшие камешки, и, тихо улыбаясь, смотрел на их забаву Иисус.

— Что же ты, Иуда? Отчего ты не примешь участия в игре, — это, по-видимому, так весело? — спросил Фома, найдя своего странного друга в неподвижности, за большим серым камнем.

— У меня грудь болит, и меня не звали.

— А разве нужно звать? Ну, так вот я тебя зову, иди. Посмотри, какие камни бросает Петр.

Иуда как-то боком взглянул на него, и тут Фома впервые смутно почувствовал, что у Иуды из Кариота — два лица. Но не успел он этого понять, как Иуда сказал своим обычным тоном, льстивым и в то же время насмешливым:

— Разве есть кто-нибудь сильнее Петра? Когда он кричит, все ослы в Иерусалиме думают, что пришел их мессия, и тоже поднимают крик. Ты слышал когда-нибудь их крик, Фома?

И, приветливо улыбаясь и стыдливо запахивая одеждою грудь, поросшую курчавыми рыжими волосами, Иуда вступил в круг играющих. И так как всем было очень весело, то встретили его с радостью и громкими шутками, и даже Иоанн снисходительно улыбнулся, когда Иуда, кряхтя и притворно охая, взялся за огромный камень.

Но вот он легко поднял его и бросил, и слепой, широко открытый глаз его, покачнувшись, неподвижно уставился на Петра, а другой, лукавый и веселый, налился тихим смехом.

— Нет, ты еще брось! — сказал Петр обиженно.

И вот один за другим поднимали они и бросали гигантские камни, и, удивляясь, смотрели на них ученики. Петр бросал большой камень, — Иуда еще больше. Петр, хмурый и сосредоточенный, гневно ворочал обломок скалы, шатаясь, поднимал его и ронял вниз, — Иуда, продолжая улыбаться, отыскивал глазом еще больший обломок, ласково впивался в него длинными пальцами, облипал его, качался вместе с ним и, бледнея, посылал его в пропасть. Бросив свой камень, Петр откидывался назад и так следил за его падением, — Иуда же наклонялся вперед, выгибался и простирал длинные шевелящиеся руки, точно сам хотел улететь за камнем. Наконец оба они, сперва Петр, потом Иуда, схватились за старый, седой камень — и не могли его поднять, ни тот, ни другой. Весь красный, Петр решительно подошел к Иисусу и громко сказал:

— Господи! я не хочу, чтобы Иуда был сильнее меня. Помоги мне поднять тот камень и бросить.

И тихо ответил ему что-то Иисус. Петр недо-

вольно пожал широкими плечами, но ничего не осмелился возразить и вернулся назад со словами:

— Он сказал: а кто поможет Искариоту?

Но вот взглянул он на Иуду, который, задыхаясь и крепко стиснув зубы, продолжал еще обнимать упорный камень, и весело засмеялся:

— Вот так больной! Посмотрите, что делает наш больной, бедный Иуда!

И засмеялся сам Иуда, так неожиданно уличенный в своей лжи, и засмеялись все остальные, — даже Фома слегка раздвинул улыбкой свои прямые, нависшие на губы, серые усы. И так, дружелюбно болтая и смеясь, все двинулись в путь, и Петр, совершенно примирившийся с победителем, время от времени подталкивал его кулаком в бок и громко хохотал:

— Вот так больной!

Все хвалили Иуду, все признавали, что он победитель, все дружелюбно болтали с ним, но Иисус, — но Иисус и на этот раз не захотел похвалить Иуду. Молча шел он впереди, покусывая сорванную травинку; и понемногу один за другим переставали смеяться ученики и переходили к Иисусу. И в скором времени опять вышло так, что все они тесною кучкою шли впереди, а Иуда

— Иуда-победитель — Иуда сильный — один плелся сзади, глотая пыль.

Вот они остановились, и Иисус положил руку на плечо Петра, другой рукою указывая вдаль, где уже показался в дымке Иерусалим. И широкая, могучая спина Петра бережно приняла эту тонкую, загорелую руку.

На ночлег они остановились в Вифании, в доме Лазаря. И когда все собрались для беседы, Иуда подумал, что теперь вспомнят о его победе над Петром, и сел поближе. Но ученики были молчаливы и необычно задумчивы. Образы пройденного пути: и солнце, и камень, и трава, и Христос, возлежащий в шатре, тихо плыли в голове, навевая мягкую задумчивость, рождая смутные, но сладкие грезы о каком-то вечном движении под солнцем. Сладко отдыхало утомленное тело, и все оно думало о чем-то загадочно-прекрасном и большом, — и никто не вспомнил об Иуде.

Иуда вышел. Потом вернулся. Иисус говорил, и в молчании слушали его речь ученики. Неподвижно, как изваяние, сидела у ног его Мария и, закинув голову, смотрела в его лицо. Иоанн, придвинувшись близко, старался сделать так, чтобы рука его коснулась одежды учителя, но не обеспокоила его. Коснулся — и замер. И громко

и сильно дышал Петр, вторя дыханием своим речи Иисуса.

Искариот остановился у порога и, презрительно миновав взглядом собравшихся, весь огонь его сосредоточил на Иисусе. И по мере того как смотрел, гасло все вокруг него, одевалось тьмою и безмолвием, и только светлел Иисус с своею поднятой рукою. Но вот и он словно поднялся в воздух, словно растаял и сделался такой, как будто весь он состоял из надозерного тумана, пронизанного светом заходящей луны; и мягкая речь его звучала где-то далеко-далеко и нежно. И, вглядываясь в колеблющийся призрак, вслушиваясь в нежную мелодию далеких и призрачных слов, Иуда забрал в железные пальцы всю душу и в необъятном мраке ее, молча, начал строить что-то огромное. Медленно, в глубокой тьме, он поднимал какие-то громады, подобные горам, и плавно накладывал одна на другую; и снова поднимал, и снова накладывал; и что-то росло во мраке, ширилось беззвучно, раздвигало границы. Вот куполом почувствовал он голову свою, и в непроглядном мраке его продолжало расти огромное, и кто-то молча работал: поднимал громады, подобные горам, накладывал одну на другую и снова поднимал… И нежно звучали

где-то далекие и призрачные слова.

Так стоял он, загораживая дверь, огромный и черный, и говорил Иисус, и громко вторило его словам прерывистое и сильное дыхание Петра. Но вдруг Иисус смолк — резким незаконченным звуком, и Петр, точно проснувшись, восторженно воскликнул:

— Господи! Тебе ведомы глаголы вечной жизни!

Но Иисус молчал и пристально глядел куда-то. И когда последовали за его взором, то увидели у дверей окаменевшего Иуду с раскрытым ртом и остановившимися глазами. И, не поняв, в чем дело, засмеялись. Матфей же, начитанный в Писании, притронулся к плечу Иуды и сказал словами Соломона:

— Смотрящий кротко — помилован будет, а встречающийся в воротах — стеснит других.

Иуда вздрогнул и даже вскрикнул слегка от испуга; и все у него — глаза, руки и ноги — точно побежало в разные стороны, как у животного, которое внезапно увидело над собою глаза человека. Прямо к Иуде шел Иисус и слово какое-то нес на устах своих — и прошел мимо Иуды в открытую и теперь свободную дверь.

* * *

Уже в середине ночи обеспокоенный Фома подошел к ложу Иуды, присел на корточки и спросил:

— Ты плачешь, Иуда?

— Нет. Отойди, Фома.

— Отчего же ты стонешь и скрипишь зубами? Ты нездоров?

Иуда помолчал, и из уст его, одно за другим, стали падать тяжелые слова, налитые тоскою и гневом.

— Почему он не любит меня? Почему он любит тех? Разве я не красивее, не лучше, не сильнее их? Разве не я спас ему жизнь, пока те бежали, согнувшись, как трусливые собаки?

— Мой бедный друг, ты не совсем прав. Ты вовсе не красив, и язык твой так же неприятен, как и твое лицо. Ты лжешь и злословишь постоянно, как же ты хочешь, чтобы тебя любил Иисус?

Но Иуда точно не слышал его и продолжал, тяжело шевелясь в темноте:

— Почему он не с Иудой, а с теми, кто его не любит? Иоанн принес ему ящерицу — я принес бы ему ядовитую змею. Петр бросал камни — я гору бы повернул для него! Но что такое ядовитая

змея? Вот вырван у нее зуб, и ожерельем ложится она вокруг шеи. Но что такое гора, которую можно срыть руками и ногами потоптать? Я дал бы ему Иуду, смелого, прекрасного Иуду! А теперь он погибнет, и вместе с ним погибнет и Иуда.

— Ты что-то странное говоришь, Иуда!

— Сухая смоковница, которую нужно порубить секирою, — ведь это я, это обо мне он сказал. Почему же он не рубит? он не смеет, Фома. Я его знаю: он боится Иуды! Он прячется от смелого, сильного, прекрасного Иуды! Он любит глупых, предателей, лжецов. Ты лжец, Фома, ты слыхал об этом?

Фома очень удивился и хотел возражать, но подумал, что Иуда просто бранится, и только покачал в темноте головою. И еще сильнее затосковал Иуда; он стонал, скрежетал зубами, и слышно было, как беспокойно движется под покрывалом все его большое тело.

— Что так болит у Иуды? Кто приложил огонь к его телу? Он сына своего отдает собакам! Он дочь свою отдает разбойникам на поругание, невесту свою — на непотребство. Но разве не нежное сердце у Иуды? Уйди, Фома, уйди, глупый. Пусть один останется сильный, смелый, прекрасный Иуда!

IV

Иуда утаил несколько динариев, и это открылось благодаря Фоме, который видел случайно, сколько было дано денег. Можно было предположить, что это уже не в первый раз Иуда совершает кражу, и все пришли в негодование. Разгневанный Петр схватил Иуду за ворот его платья и почти волоком притащил к Иисусу, и испуганный, побледневший Иуда не сопротивлялся.

— Учитель, смотри! Вот он — шутник! Вот он — вор! Ты ему поверил, а он крадет наши деньги. Вор! Негодяй! Если ты позволишь, я сам…

Но Иисус молчал. И, внимательно взглянув на него, Петр быстро покраснел и разжал руку, державшую ворот. Иуда стыдливо оправился, искоса поглядел на Петра и принял покорно-угнетенный вид раскаявшегося преступника.

— Так вот как! — сердито сказал Петр и громко хлопнул дверью, уходя. И все были недовольны и говорили, что ни за что не останутся теперь с Иудою, — но Иоанн что-то быстро сообразил и проскользнул в дверь, за которою слышался тихий и как будто даже ласковый голос Иисуса. И когда по прошествии времени вышел оттуда, то

был бледный, и потупленные глаза его краснели как бы от недавних слез.

— Учитель сказал… Учитель сказал, что Иуда может брать денег, сколько он хочет.

Петр сердито засмеялся. Быстро, с укором взглянул на него Иоанн и, внезапно загоревшись весь, смешивая слезы с гневом, восторг со слезами, звонко воскликнул:

— И никто не должен считать, сколько денег получил Иуда. Он наш брат, и все деньги его, как и наши, и если ему нужно много, пусть берет много, никому не говоря и ни с кем не советуясь. Иуда наш брат, и вы тяжко обидели его — так сказал учитель… Стыдно нам, братья!

В дверях стоял бледный, криво улыбавшийся Иуда, и легким движением Иоанн приблизился и трижды поцеловал его. За ним, оглядываясь друг на друга, смущенно подошли Иаков, Филипп и другие, — после каждого поцелуя Иуда вытирал рот, но чмокал громко, как будто этот звук доставлял ему удовольствие. Последним подошел Петр.

— Все мы тут глупые, все слепые, Иуда. Один он видит, один он умный. Мне можно поцеловать тебя?

— Отчего же? Целуй! — согласился Иуда.

Петр крепко поцеловал его и на ухо громко

сказал:

— А я тебя чуть не удушил! Они хоть так, а я прямо за горло! Тебе не больно было?

— Немножко.

— Пойду к нему и все расскажу. Ведь я и на него рассердился, — мрачно сказал Петр, стараясь тихонько, без шума, отворить дверь.

— А что же ты, Фома? — строго спросил Иоанн, наблюдавший за действиями и словами учеников.

— Я еще не знаю. Мне нужно подумать.

И долго думал Фома, почти весь день. Разошлись по делам своим ученики, и уже где-то за стеною громко и весело кричал Петр, а он все соображал. Он сделал бы это быстрее, но ему несколько мешал Иуда, неотступно следивший за ним насмешливым взглядом и изредка серьезно спрашивавший:

— Ну как, Фома? Как идет дело?

Потом Иуда притащил свой денежный ящик и громко, звеня монетами и притворно не глядя на Фому, стал считать деньги.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три… Смотри, Фома, опять фальшивая монета. Ах, какие все люди мошенники, они даже жертвуют фальшивые деньги… Двадцать четыре… А потом

опять скажут, что украл Иуда… Двадцать пять, двадцать шесть…

Фома решительно подошел к нему — уже к вечеру это было — и сказал:

— Он прав, Иуда. Дай я поцелую тебя.

— Вот как? Двадцать девять, тридцать. Напрасно. Я опять буду красть. Тридцать один…

— Как же можно красть, когда нет ни своего, ни чужого. Ты просто будешь брать, сколько тебе нужно, брат.

— И это столько времени тебе понадобилось, чтобы повторить только его слова? Не дорожишь же ты временем, умный Фома.

— Ты, кажется, смеешься надо мною, брат?

— И подумай, хорошо ли ты поступаешь, добродетельный Фома, повторяя слова его? Ведь это он сказал — «свое», — а не ты. Это он поцеловал меня — вы же только осквернили мне рот. Я и до сих пор чувствую, как ползают по мне ваши мокрые губы. Это так отвратительно, добрый Фома. Тридцать восемь, тридцать девять, сорок. Сорок динариев, Фома, не хочешь ли проверить?

— Ведь он наш учитель. Как же нам не повторять слов учителя?

— Разве отвалился ворот у Иуды? Разве он теперь голый и его не за что схватить? Вот уйдет

учитель из дому, и опять украдет нечаянно Иуда три динария, и разве не за тот же ворот вы схватите его?

— Мы теперь знаем, Иуда. Мы поняли.

— А разве не у всех учеников плохая память? И разве не всех учителей обманывали их ученики? Вот поднял учитель розгу — ученики кричат: мы знаем, учитель! А ушел учитель спать, и говорят ученики: не этому ли учил нас учитель? И тут. Сегодня утром ты назвал меня: вор. Сегодня вечером ты зовешь меня: брат. А как ты назовешь меня завтра?

Иуда засмеялся и, легко поднимая рукою тяжелый, звенящий ящик, продолжал:

— Когда дует сильный ветер, он поднимает сор. И глупые люди смотрят на сор и говорят: вот ветер! А это только сор, мой добрый Фома, ослиный помет, растоптанный ногами. Вот встретил он стену и тихо лег у подножия ее, а ветер летит дальше, ветер летит дальше, мой добрый Фома!

Иуда предупредительно показал рукой через стену и снова засмеялся.

— Я рад, что тебе весело, — сказал Фома. — Но очень жаль, что в твоей веселости так много зла.

— Как же не быть веселым человеку, которого столько целовали и который так полезен? Если

бы я не украл трех динариев, разве узнал бы Иоанн, что такое восторг? И разве не приятно быть крюком, на который вывешивает для просушки: Иоанн — свою отсыревшую добродетель, Фома — свой ум, поеденный молью?

— Мне кажется, что лучше мне уйти.

— Но ведь я же шучу. Я шучу, мой добрый Фома, — я только хотел знать, действительно ли ты желаешь поцеловать старого, противного Иуду, вора, который украл три динария и отдал их блуднице.

— Блуднице? — удивился Фома. — А об этом ты сказал учителю?

— Вот ты опять сомневаешься, Фома. Да, блуднице. Но если бы ты знал, Фома, что это была за несчастная женщина. Уже два дня она ничего не ела…

— Ты это знаешь наверное? — смутился Фома.

— Да, конечно. Ведь я сам два дня был с нею и видел, что она ничего не ест и пьет только красное вино. Она шаталась от истощения, и я падал вместе с нею…

Фома быстро встал и, уже отойдя на несколько шагов, кинул Иуде:

— По-видимому, в тебя вселился сатана, Иуда.

И, уходя, слышал в наступивших сумерках,

как жалобно позванивал в руках Иуды тяжелый денежный ящик. И как будто смеялся Иуда.

Но уже на другой день Фоме пришлось сознаться, что он ошибся в Иуде — так прост, мягок и в то же время серьезен был Искариот. Он не кривлялся, не шутил злоречиво, не кланялся и не оскорблял, но тихо и незаметно делал свое хозяйственное дело. Был он проворен, как и прежде, — точно не две ноги, как у всех людей, а целый десяток имел их, но бегал бесшумно, без писка, воплей и смеха, похожего на смех гиены, каким раньше сопровождал он все действия свои. А когда Иисус начинал говорить, он тихо усаживался в углу, складывал свои руки и ноги и смотрел так хорошо своими большими глазами, что многие обратили на это внимание. И о людях он перестал говорить дурное, и больше молчал, так что сам строгий Матфей счел возможным похвалить его, сказав словами Соломона:

— Скудоумный высказывает презрение к ближнему своему; но разумный человек молчит.

И поднял палец, намекая тем на прежнее злоречие Иуды. В скором времени и все заметили в Иуде эту перемену и порадовались ей; и только Иисус все так же чуждо смотрел на него, хотя прямо ничем не выражал своего нерасположения. И

сам Иоанн, которому Иуда оказывал теперь глубокое почтение, как любимому ученику Иисуса и своему заступнику в случае с тремя динариями, стал относиться к нему несколько мягче и даже иногда вступал в беседу.

— Как ты думаешь, Иуда, — сказал он однажды снисходительно, — кто из нас, Петр или я, будет первым возле Христа в его Небесном Царствии?

Иуда подумал и ответил:

— Я полагаю, что ты.

— А Петр думает, что он, — усмехнулся Иоанн.

— Нет. Петр всех ангелов разгонит своим криком, — ты слышишь, как он кричит? Конечно, он будет спорить с тобою и постарается первый занять место, так как уверяет, что тоже любит Иисуса, — но он уже староват, а ты молод, он тяжел на ногу, а ты бегаешь быстро, и ты первый войдешь туда со Христом. Не так ли?

— Да, я не оставлю Иисуса, — согласился Иоанн.

И в тот же самый день и с таким же вопросом обратился к Иуде Петр Симонов. Но, боясь, что громкий голос его будет услышан другими, отвел Иуду в самый дальний угол, за дом.

— Так как же ты думаешь? — тревожно спрашивал он. — Ты умный, тебя за ум сам учитель

хвалит, и ты скажешь правду.

— Конечно, ты, — без колебания ответил Искариот; и Петр с негодованием воскликнул:

— Я ему говорил!

— Но, конечно, и там он будет стараться отнять у тебя первое место.

— Конечно!

— Но что он может сделать, когда место уже будет занято тобою? Ведь ты первый пойдешь туда с Иисусом? Ты не оставишь его одного? Разве не тебя назвал он — камень?

Петр положил руку на плечо Иуды и горячо сказал:

— Говорю тебе, Иуда, ты самый умный из нас. Зачем только ты такой насмешливый и злой? Учитель не любит этого. А то ведь и ты мог бы стать любимым учеником, не хуже Иоанна. Но только и тебе, — Петр угрожающе поднял руку, — не отдам я своего места возле Иисуса, ни на земле, ни там! Слышишь!

Так старался Иуда доставить всем приятное, но и свое что-то думал при этом. И, оставаясь все тем же скромным, сдержанным и незаметным, каждому умел сказать то, что ему особенно нравится. Так, Фоме он сказал:

— Глупый верит всякому слову, благоразумный

же внимателен к путям своим.

Матфею же, который страдал некоторым излишеством в пище и питье и стыдился этого, привел слова мудрого и почитаемого им Соломона:

— Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение.

Но и приятное говорил редко, тем самым придавая ему особенную ценность, а больше молчал, внимательно прислушивался ко всему, что говорится, и думал о чем-то. Размышляющий Иуда имел, однако, вид неприятный, смешной и в то же время внушающий страх. Пока двигался его живой и хитрый глаз, Иуда казался простым и добрым, но когда оба глаза останавливались неподвижно и в странные бугры и складки собиралась кожа на его выпуклом лбу, — являлась тягостная догадка о каких-то совсем особенных мыслях, ворочающихся под этим черепом. Совсем чужие, совсем особенные, совсем не имеющие языка, они глухим молчанием тайны окружали размышляющего Искариота, и хотелось, чтобы он поскорее начал говорить, шевелиться, даже лгать. Ибо сама ложь, сказанная человеческим языком, казалась правдою и светом перед этим безнадежно-глухим и неотзывчивым молчанием.

— Опять задумался, Иуда? — кричал Петр, своим ясным голосом и лицом внезапно разрывая глухое молчание Иудиных дум, отгоняя их куда-то в темный угол. — О чем ты думаешь?

— О многом, — с покойной улыбкой отвечал Искариот. И, заметив, вероятно, как нехорошо действует на других его молчание, чаще стал удаляться от учеников и много времени проводил в уединенных прогулках или же забирался на плоскую кровлю и там тихонько сидел. И уже несколько раз слегка пугался Фома, наткнувшись неожиданно в темноте на какую-то серую груду, из которой вдруг высовывались руки и ноги Иуды и слышался его шутливый голос.

Только однажды Иуда как-то особенно резко и странно напомнил прежнего Иуду, и произошло это как раз во время спора о первенстве в Царствии Небесном. В присутствии учителя Петр и Иоанн перекорялись друг с другом, горячо оспаривая свое место возле Иисуса: перечисляли свои заслуги, мерили степень своей любви к Иисусу, горячились, кричали, даже бранились несдержанно, Петр — весь красный от гнева, рокочущий; Иоанн — бледный и тихий, с дрожащими руками и кусающейся речью. Уже непристойным делался их спор и начал хмуриться учитель, когда

Петр взглянул случайно на Иуду и самодовольно захохотал; взглянул на Иуду Иоанн и также улыбнулся, — каждый из них вспомнил, что говорил ему умный Искариот. И, уже предвкушая радость близкого торжества, они молча и согласно призвали Иуду в судьи, и Петр закричал:

— Ну-ка, умный Иуда! Скажи-ка нам, кто будет первый возле Иисуса — он или я?

Но Иуда молчал, дышал тяжело и глазами жадно спрашивал о чем-то спокойно-глубокие глаза Иисуса.

— Да, — подтвердил снисходительно Иоанн, — скажи ты ему, кто будет первый возле Иисуса.

Не отрывая глаз от Христа, Иуда медленно поднялся и ответил тихо и важно:

— Я!

Иисус медленно опустил взоры. И, тихо бия себя в грудь костлявым пальцем, Искариот повторил торжественно и строго:

— Я! Я буду возле Иисуса!

И вышел. Пораженные дерзкой выходкой, ученики молчали, и только Петр, вдруг вспомнив что-то, шепнул Фоме неожиданно тихим голосом:

— Так вот о чем он думает!.. Ты слышал?

V

Как раз в это время Иуда Искариот совершил первый, решительный шаг к предательству: тайно посетил первосвященника Анну. Был он встречен очень сурово, но не смутился этим и потребовал продолжительной беседы с глазу на глаз. И, оставшись наедине с сухим и суровым стариком, презрительно смотревшим на него из-под нависших, тяжелых век, рассказал, что он, Иуда, человек благочестивый и в ученики к Иисусу Назарею вступил с единственной целью уличить обманщика и предать его в руки закона.

— А кто он, этот Назарей? — пренебрежительно спросил Анна, делая вид, что в первый раз слышит имя Иисуса.

Иуда также сделал вид, что верит странному неведению первосвященника, и подробно рассказал о проповеди Иисуса и чудесах, ненависти его к фарисеям и храму, о постоянных нарушениях им закона и, наконец, о желании его исторгнуть власть из рук церковников и создать свое особенное царство. И так искусно перемешивал правду с ложью, что внимательнее взглянул на него Анна и лениво сказал:

— Мало ли в Иудее обманщиков и безумцев?

— Нет, он опасный человек, — горячо возразил Иуда, — он нарушает закон. И пусть лучше один человек погибнет, чем весь народ.

Анна одобрительно кивнул головою.

— Но у него, кажется, много учеников?

— Да, много.

— И они, вероятно, очень любят его?

— Да, они говорят, что любят. Очень любят, больше, чем себя.

— Но если мы захотим взять его, не вступятся ли они? Не поднимут ли они восстания?

Иуда засмеялся продолжительно и зло:

— Они? Эти трусливые собаки, которые бегут, как только человек наклоняется за камнем. Они!

— Разве они такие дурные? — холодно спросил Анна.

— А разве дурные бегают от хороших, а не хорошие от дурных? Хе! Они хорошие, и поэтому побегут. Они хорошие, и поэтому они спрячутся. Они хорошие, и поэтому они явятся только тогда, когда Иисуса надо будет класть в гроб. И они положат его сами, а ты только казни!

— Но ведь они же любят его? Ты сам сказал.

— Своего учителя они всегда любят, но больше мертвым, чем живым. Когда учитель жив, он мо-

жет спросить у них урок, и тогда им будет плохо. А когда учитель умирает, они сами становятся учителями, и плохо делается уже другим! Хе!

Анна проницательно взглянул на предателя, и сухие губы его сморщились, — это значило, что Анна улыбается.

— Ты обижен ими? Я это вижу.

— Разве может укрыться что-либо от твоей проницательности, мудрый Анна? Ты проник в самое сердце Иуды. Да. Они обидели бедного Иуду. Они сказали, что он украл у них три динария, — как будто Иуда не самый честный человек в Израиле!

И еще долго говорили они об Иисусе, об учениках его, о гибельном влиянии его на израильский народ, — но решительного ответа не дал на этот раз осторожный и хитрый Анна. Он уж давно следил за Иисусом и на тайных совещаниях с родственниками и друзьями своими, начальниками и саддукеями уже давно решил участь пророка из Галилеи. Но он не доверял Иуде, о котором и раньше слыхал как о дурном и лживом человеке, не доверял его легкомысленным надеждам на трусость учеников и народа. В свою силу Анна верил, но боялся кровопролития, боялся грозного бунта, на который так легко шел непокорный и

гневливый народ иерусалимский, боялся, наконец, сурового вмешательства властей из Рима. Раздутая сопротивлением, оплодотворенная красной кровью народа, дающей жизнь всему, на что она падает, — еще сильнее разрастется ересь и в гибких кольцах своих задушит Анну, и власть, и всех его друзей. И когда во второй раз постучался к нему Искариот, Анна смутился духом и не принял его. Но и в третий, и в четвертый раз пришел к нему Искариот, настойчивый, как ветер, который и днем и ночью стучится в запертую дверь и дышит в скважины ее.

— Я вижу, что боится чего-то мудрый Анна, — сказал Иуда, допущенный наконец к первосвященнику.

— Я довольно силен, чтобы ничего не бояться, — надменно ответил Анна, и Искариот раболепно поклонился, простирая руку. — Чего ты хочешь?

— Я хочу предать вам Назарея.

— Он нам не нужен.

Иуда поклонился и ждал, покорно устремив свой глаз на первосвященника.

— Ступай.

— Но я должен прийти опять. Не так ли, почтенный Анна?

— Тебя не пустят. Ступай.

Но вот и еще раз, и еще раз постучался Иуда из Кариота и был впущен к престарелому Анне. Сухой и злобный, удрученный мыслями, молча глядел он на предателя и точно считал волосы на бугроватой голове его. Но молчал и Иуда — точно и сам подсчитывал волоски в реденькой седой бородке первосвященника.

— Ну? Ты опять здесь? — надменно бросил, точно плюнул на голову, раздраженный Анна.

— Я хочу предать вам Назарея.

Оба замолчали, продолжая с вниманием разглядывать друг друга. Но Искариот смотрел спокойно, а Анну уже начала покалывать тихая злость, сухая и холодная, как предутренний иней зимою.

— Сколько же ты хочешь за твоего Иисуса?

— А сколько вы дадите?

Анна с наслаждением оскорбительно сказал:

— Вы все шайка мошенников. Тридцать сребреников — вот сколько мы дадим.

И тихо порадовался, видя, как весь затрепыхал, задвигался, забегал Иуда — проворный и быстрый, как будто не две ноги, а целый десяток их было у него.

— За Иисуса? Тридцать сребреников? — закричал он голосом дикого изумления, порадовавшим

Анну. — За Иисуса Назарея! И вы хотите купить Иисуса за тридцать серебреников? И вы думаете, что вам могут продать Иисуса за тридцать серебреников?

Иуда быстро повернулся к стене и захохотал в ее белое плоское лицо, поднимая длинные руки:

— Ты слышишь? Тридцать серебреников! За Иисуса!

С той же тихой радостью Анна равнодушно заметил:

— Если не хочешь, то ступай. Мы найдем человека, который продаст дешевле.

И, точно торговцы старым платьем, которые на грязной площади перебрасывают с рук на руки негодную ветошь, кричат, клянутся и бранятся, они вступили в горячий и бешеный торг. Упиваясь странным восторгом, бегая, вертясь, крича, Иуда по пальцам вычислял достоинства того, кого он продает.

— А то, что он добр и исцеляет больных, это так уже ничего и не стоит, по-вашему? А? Нет, вы скажите, как честный человек!

— Если ты… — пробовал вставить порозовевший Анна, холодная злость которого быстро нагревалась на раскаленных словах Иуды; но тот беззастенчиво перебивал его:

— А то, что он красив и молод, — как нарцисс саронский, как лилия долин? А? Это ничего не стоит? Вы, быть может, скажете, что он стар и никуда не годен, что Иуда продает вам старого петуха? А?

— Если ты… — старался кричать Анна, но его старческий голос, как пух ветром, уносила отчаянно-бурная речь Иуды.

— Тридцать серебреников! Ведь это одного обола не выходит за каплю крови! Половины обола не выходит за слезу! Четверть обола за стон! А крики! А судороги! А за то, чтобы его сердце остановилось? А за то, чтобы закрылись его глаза? Это даром? — вопил Искариот, наступая на первосвященника, всего его одевая безумным движением своих рук, пальцев, крутящихся слов.

— За все! За все! — задыхался Анна.

— А сами вы сколько наживаете на этом? Хе? Вы ограбить хотите Иуду, кусок хлеба вырвать у его детей? Я не могу! Я на площадь пойду, я кричать буду: Анна ограбил бедного Иуду! Спасите!

Утомленный, совсем закружившийся Анна бешено затопал по полу мягкими туфлями и замахал руками:

— Вон!.. Вон!..

Но Иуда вдруг смиренно согнулся и покорно

развел руками:

— Но если ты так… Зачем же ты сердишься на бедного Иуду, который желает добра своим детям? У тебя тоже есть дети, прекрасные молодые люди…

— Мы другого… Мы другого… Вон!

— Но разве я сказал, что я не могу уступить? И разве я вам не верю, что может прийти другой и отдать вам Иисуса за пятнадцать оболов? За два обола? За один?

И, кланяясь все ниже, извиваясь и льстя, Иуда покорно согласился на предложенные ему деньги. Дрожащею, сухою рукой порозовевший Анна отдал ему деньги и, молча, отвернувшись и жуя губами, ждал, пока Иуда перепробовал на зубах все серебряные монеты. Изредка Анна оглядывался и, точно обжегшись, снова поднимал голову к потолку и усиленно жевал губами.

— Теперь так много фальшивых денег, — спокойно пояснил Иуда.

— Это деньги, пожертвованные благочестивыми людьми на храм, — сказал Анна, быстро оглянувшись и еще быстрее подставив глазам Иуды свой розоватый лысый затылок.

— Но разве благочестивые люди умеют отличить фальшивое от настоящего? Это умеют

только мошенники.

Полученные деньги Иуда не отнес домой, но, выйдя за город, спрятал их под камнем. И назад он возвращался тихо, тяжелыми и медлительными шагами, как раненое животное, медленно уползающее в свою темную нору после жестокой и смертельной битвы. Но не было своей норы у Иуды, а был дом, и в этом доме он увидел Иисуса. Усталый, похудевший, измученный непрерывной борьбой с фарисеями, стеною белых, блестящих ученых лбов окружавших его каждодневно в храме, он сидел, прижавшись щекою к шершавой стене, и, по-видимому, крепко спал. В открытое окно влетали беспокойные звуки города, за стеной стучал Петр, сбивая для трапезы новый стол, и напевал тихую галилейскую песенку, — но он ничего не слышал и спал спокойно и крепко. И это был тот, кого они купили за тридцать серебреников.

Бесшумно продвинувшись вперед, Иуда с нежной осторожностью матери, которая боится разбудить свое больное дитя, с изумлением вылезшего из логовища зверя, которого вдруг очаровал беленький цветок, тихо коснулся его мягких волос и быстро отдернул руку. Еще раз коснулся — и выполз бесшумно.

— Господи! — сказал он. — Господи!

И, выйдя в место, куда ходили по нужде, долго плакал там, корчась, извиваясь, царапая ногтями грудь и кусая плечи. Ласкал воображаемые волосы Иисуса, нашептывал тихо что-то нежное и смешное и скрипел зубами. Потом внезапно перестал плакать, стонать и скрежетать зубами и тяжело задумался, склонив на сторону мокрое лицо, похожий на человека, который прислушивается. И так долго стоял он, тяжелый, решительный и всему чужой, как сама судьба.

* * *

...Тихою любовью, нежным вниманием, лаской окружил Иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, — он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжелых мгновений усталости. И куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое, и куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо

шутил над ними и причинял мелкие неприятности — теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких, милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, — и те приносили амбру, благовонное дорогое миро, столь любимое Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса и потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству; и в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелененькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках — первый раз в жизни — маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принужденно целуя их, чтобы не плакали; и часто случалось, что к задумавшемуся Иисусу вдруг всползало на колени что-то маленькое, черненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком и требовательно искало ласки. И пока оба они радовались друг на друга, Иуда строго прохаживался в стороне, как суровый

тюремщик, который сам весною впустил к заключенному бабочку и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.

По вечерам, когда вместе с тьмою у окон становилась на страже и тревога, Искариот искусно наводил разговор на Галилею, чуждую ему, но милую Иисусу Галилею, с ее тихою водой и зелеными берегами. И до тех пор раскачивал он тяжелого Петра, пока не просыпались в нем засохшие воспоминания, и в ярких картинах, где все было громко, красочно и густо, не вставала перед глазами и слухом милая галилейская жизнь. С жадным вниманием, по-детски полуоткрыв рот, заранее смеясь глазами, слушал Иисус его порывистую, звонкую, веселую речь и иногда так хохотал над его шутками, что на несколько минут приходилось останавливать рассказ. Но еще лучше, чем Петр, рассказывал Иоанн; у него не было смешного и неожиданного, но все становилось таким задумчивым, необыкновенным и прекрасным, что у Иисуса показывались на глазах слезы, и он тихонько вздыхал, а Иуда толкал в бок Марию Магдалину и с восторгом шептал ей:

— Как он рассказывает! Ты слышишь?

— Слышу, конечно.

— Нет, ты лучше слушай. Вы, женщины, нико-

гда не умеете хорошо слушать.

Потом все тихо расходились спать, и Иисус нежно и с благодарностью целовал Иоанна и ласково гладил по плечу высокого Петра.

И без зависти, со снисходительным презрением смотрел Иуда на эти ласки. Что значат все эти рассказы, эти поцелуи и вздохи сравнительно с тем, что знает он, Иуда из Кариота, рыжий, безобразный иудей, рожденный среди камней!

VI

Одною рукой предавая Иисуса, другой рукой Иуда старательно искал расстроить свои собственные планы. Он не отговаривал Иисуса от последнего, опасного путешествия в Иерусалим, как делали это женщины, он даже склонялся скорее на сторону родственников Иисуса и тех его учеников, которые победу над Иерусалимом считали необходимою для полного торжества дела. Но настойчиво и упорно предупреждал он об опасности и в живых красках изображал грозную ненависть фарисеев к Иисусу, их готовность пойти на преступление и тайно или явно умертвить пророка из Галилеи. Каждый день и каждый час говорил он об этом, и не было ни одного из верующих, перед кем не стоял бы Иуда, подняв грозящий палец, и не говорил бы предостерегающе и строго:

— Нужно беречь Иисуса! Нужно беречь Иисуса! Нужно заступиться за Иисуса, когда придет на то время.

Но безграничная ли вера учеников в чудесную силу их учителя, сознание ли правоты своей или просто ослепление — пугливые слова Иуды

встречались улыбкою, а бесконечные советы вызывали даже ропот. Когда Иуда добыл откуда-то и принес два меча, только Петру понравилось это, и только Петр похвалил мечи и Иуду, остальные же недовольно сказали:

— Разве мы воины, что должны опоясываться мечами? И разве Иисус не пророк, а военачальник?

— Но если они захотят умертвить его?

— Они не посмеют, когда увидят, что весь народ идет за ним.

— А если посмеют? Тогда что?

Иоанн говорил пренебрежительно:

— Можно подумать, что только один ты, Иуда, любишь учителя.

И, жадно вцепившись в эти слова, совсем не обижаясь, Иуда начинал допрашивать торопливо, горячо, с суровой настойчивостью:

— Но вы его любите, да?

И не было ни одного из верующих, приходивших к Иисусу, кого он не спросил бы неоднократно:

— А ты его любишь? Крепко любишь?

И все отвечали, что любят.

Он часто беседовал с Фомой и, подняв предостерегающе сухой, цепкий палец с длинным и

грязным ногтем, таинственно предупреждал его:

— Смотри, Фома, близится страшное время. Готовы ли вы к нему? Почему ты не взял меча, который я принес?

Фома рассудительно ответил:

— Мы люди, непривычные к обращению с оружием. И если мы вступим в борьбу с римскими воинами, то они всех нас перебьют. Кроме того, ты принес только два меча, — что можно сделать двумя мечами?

— Можно еще достать. Их можно отнять у воинов, — нетерпеливо возразил Иуда, и даже серьезный Фома улыбнулся сквозь прямые, нависшие усы:

— Ах, Иуда, Иуда! А эти где ты взял? Они похожи на мечи римских солдат.

— Эти я украл. Можно было еще украсть, но там закричали, — и я убежал.

Фома задумался и печально сказал:

— Опять ты поступил нехорошо, Иуда. Зачем ты крадешь?

— Но ведь нет же чужого!

— Да, но завтра воинов спросят: а где ваши мечи? И, не найдя, накажут их без вины.

И впоследствии, уже после смерти Иисуса, ученики припоминали эти разговоры Иуды и ре-

шили, что вместе с учителем хотел он погубить и их, вызвав на неравную и убийственную борьбу. И еще раз прокляли ненавистное имя Иуды из Кариота, предателя.

А рассерженный Иуда, после каждого такого разговора, шел к женщинам и плакался перед ними. И охотно слушали его женщины. То женственное и нежное, что было в его любви к Иисусу, сблизило его с ними, сделало его в их глазах простым, понятным и даже красивым, хотя по-прежнему в его обращении с ними сквозило некоторое пренебрежение.

— Разве это люди? — горько жаловался он на учеников, доверчиво устремляя на Марию свой слепой и неподвижный глаз. — Это же не люди! У них нет крови в жилах даже на обол!

— Но ведь ты же всегда говорил дурно о людях, — возражала Мария.

— Разве я когда-нибудь говорил о людях дурно? — удивлялся Иуда. — Ну да, я говорил о них дурно, но разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча!

— Он так тяжел, я не подниму его, — улыбнулась Мария.

— Поднимешь, когда мужчины будут так пло-

хи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашел я в горах? Я встал рано утром, чтоб найти ее, и сегодня было такое красное солнце, Мария! Рад ли был он? Улыбнулся ли он?

— Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет Галилеей.

— И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал, Иуда из Кариота?

— Ты же просил не говорить.

— Нет, не надо, конечно, не надо, — вздохнул Иуда. — Но ты могла проболтаться, ведь женщины так болтливы. Но ты не проболталась, нет? Ты была тверда? Так, так, Мария, ты хорошая женщина. Ты знаешь, у меня где-то есть жена. Теперь бы я хотел посмотреть на нее: быть может, она тоже неплохая женщина. Не знаю. Она говорила: Иуда лгун, Иуда Симонов злой, и я ушел от нее. Но, может быть, она и хорошая женщина, ты не знаешь?

— Как же я могу знать, когда я ни разу не видела твоей жены?

— Так, так, Мария. А как ты думаешь, тридцать сребреников — это большие деньги? Или нет, небольшие?

— Я думаю, что небольшие.

— Конечно, конечно. А сколько ты получала,

когда была блудницей? Пять серебреников или десять? Ты была дорогая?

Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли ее лицо: виднелся только круглый и белый подбородок.

— Какой ты недобрый, Иуда! Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь.

— Нет, Мария, этого забывать не надо. Зачем? Пусть другие забывают, что ты была блудницей, а ты помни. Это другим надо поскорее забыть, а тебе не надо. Зачем?

— Ведь это грех.

— Тому страшно, кто греха еще не совершал. А кто уже совершил его, — чего бояться тому? Разве мертвый боится смерти, а не живой? А мертвый смеется над живым и над страхом его.

Так дружелюбно сидели они и болтали по целым часам — он, уже старый, сухой, безобразный, со своею бугроватой головой и дико раздвоившимся лицом; она — молодая, стыдливая, нежная, очарованная жизнью, как сказкою, как сном.

А время равнодушно протекало, и тридцать серебреников лежали под камнем, и близился неумолимо страшный день предательства. Уже вступил Иисус в Иерусалим на осляти, и, расти-

лая одежды по пути его, приветствовал его народ восторженными криками:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

И так велико было ликование, так неудержимо в криках рвалась к нему любовь, что плакал Иисус, а ученики его говорили гордо:

— Не сын ли это Божий с нами?

И сами кричали торжествующе:

— Осанна! Осанна! Грядый во имя Господне!

В тот вечер долго не отходили ко сну, вспоминая торжественную и радостную встречу, а Петр был как сумасшедший, как одержимый бесом веселия и гордости. Он кричал, заглушая все речи своим львиным рыканием, хохотал, бросая свой хохот на головы, как круглые, большие камни, целовал Иоанна, целовал Иакова и даже поцеловал Иуду. И сознался шумно, что он очень боялся за Иисуса, а теперь ничего не боится, потому что видел любовь народа к Иисусу. Удивленно, быстро двигая живым и зорким глазом, смотрел по сторонам Искариот; задумывался и вновь слушал и смотрел; потом отвел в сторону Фому и, точно прикалывая его к стене своим острым взором, спросил в недоумении, страхе и какой-то смутной надежде:

— Фома! А что, если он прав? Если камни у него

под ногами, а у меня под ногою — песок только? Тогда что?

— Про кого ты говоришь? — осведомился Фома.

— Как же тогда Иуда из Кариота? Тогда я сам должен удушить его, чтобы сделать правду. Кто обманывает Иуду: вы или сам Иуда? Кто обманывает Иуду? Кто?

— Я тебя не понимаю, Иуда. Ты говоришь очень непонятно. Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И, покачивая головою, Иуда повторил, как эхо:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И на другой еще день, в том, как поднимал Иуда руку с откинутым большим пальцем, как он смотрел на Фому, звучал все тот же странный вопрос:

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

И еще больше удивился и даже обеспокоился Фома, когда вдруг ночью зазвучал громкий и как будто радостный голос Иуды:

— Тогда не будет Иуды из Кариота. Тогда не будет Иисуса. Тогда будет… Фома, глупый Фома! Хотелось ли тебе когда-нибудь взять землю и поднять ее? И, может быть, бросить потом.

— Это невозможно. Что ты говоришь, Иуда!

— Это возможно, — убежденно сказал Искариот. — И мы ее поднимем когда-нибудь, когда ты

будешь спать, глупый Фома. Спи! Мне весело, Фома! Когда ты спишь, у тебя в носу играет галилейская свирель. Спи!

Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах, за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование. И уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели; пробовал сумрачный Петр подаренный ему Иудою меч. И все печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его.

— Ты знаешь, кто его предаст? — спрашивал Фома, смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами.

— Да, знаю, — ответил Иуда, суровый и решительный. — Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит! Пора! Пора! Почему он не зовет к себе сильного, прекрасного Иуду?

…Уже не днями, а короткими, быстро летящими часами мерялось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле — первые острые стрелы

грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил:

— Ты знаешь, куда иду я, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов.

И было долгое молчание, тишина вечера и острые, черные тени.

— Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти?

И снова молчание.

— Позволь мне остаться. Но ты не можешь? Или не смеешь? Или не хочешь?

И снова молчание, огромное, как глаза вечности.

— Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты все знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз, но разве моя — меньше? Повели мне остаться!.. Но ты молчишь, ты все молчишь? Господи, Господи, затем ли в тоске и муках искал я тебя всю мою жизнь, искал и нашел! Освободи меня. Сними тяжесть, она тяжеле гор и свинца. Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды из Кариота?

И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности.

— Я иду.

Даже не проснулась вечерняя тишина, не за-

кричала и не заплакала она и не зазвенела тихим звоном своего тонкого стекла — так слаб был шум удалявшихся шагов. Прошумели и смолкли. И задумалась вечерняя тишина, протянулась длинными тенями, потемнела — и вдруг вздохнула вся шелестом тоскливо взметнувшихся листьев, вздохнула и замерла, встречая ночь.

Затолклись, захлопали, застучали другие голоса — точно развязал кто-то мешок с живыми звонкими голосами, и они попадали оттуда на землю, по одному, по два, целой кучей. Это говорили ученики. И, покрывая их всех, стукаясь о деревья, о стены, падая на самого себя, загремел решительный и властный голос Петра — он клялся, что никогда не оставит учителя своего.

— Господи! — говорил он с тоскою и гневом. — Господи! С тобою я готов и в темницу и на смерть идти.

И тихо, как мягкое эхо чьих-то удалившихся шагов, прозвучал беспощадный ответ:

— Говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься от меня.

VII

Уже встала луна, когда Иисус собрался идти на гору Елеонскую, где проводил он все последние ночи свои. Но непонятно медлил он, и ученики, готовые тронуться в путь, торопили его; тогда он сказал внезапно:

— Кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо сказываю вам, что должно исполниться на мне и этому написанному: «И к злодеям причтен».

Ученики удивились и смотрели друг на друга с смущением. Петр же ответил:

— Господи! вот здесь два меча.

Он взглянул испытующе на их добрые лица, опустил голову и сказал тихо:

— Довольно.

Звонко отдавались в узких улицах шаги идущих — и пугались ученики звука шагов своих; на белой стене, озаренной луною, вырастали их черные тени — и теней своих пугались они. Так молча проходили они по спящему Иерусалиму, и вот уже за ворота города они вышли, и в глубокой лощине, полной загадочно-неподвижных теней,

открылся им Кедронский поток. Теперь их пугало все. Тихое журчание и плеск воды на камнях казался им голосами подкрадывающихся людей; уродливые тени скал и деревьев, преграждавшие дорогу, беспокоили их пестротою своею, и движением казалась их ночная неподвижность. Но, по мере того как поднимались они в гору и приближались к Гефсиманскому саду, где в безопасности и тишине уже провели столько ночей, они делались смелее. Изредка оглядываясь на оставленный Иерусалим, весь белый под луною, они разговаривали между собой о минувшем страхе; и те, которые шли сзади, слышали отрывочно тихие слова Иисуса. О том, что все покинут его, говорил он.

В саду, в начале его, они остановились. Большая часть осталась на месте и с тихим говором начала готовиться ко сну, расстилая плащи в прозрачном кружеве теней и лунного света. Иисус же, томимый беспокойством, и четверо его ближайших учеников пошли дальше, в глубину сада. Там сели они на земле, не остывшей еще от дневного жара, и, пока Иисус молчал, Петр и Иоанн лениво перекидывались словами, почти лишенными смысла. Зевая от усталости, они говорили о том, как холодна ночь, и о том, как до-

рого мясо в Иерусалиме, рыбы же совсем нельзя достать. Старались точным числом определить количество паломников, собравшихся к празднику в город, и Петр, громкою зевотою растягивая слова, говорил, что двадцать тысяч, а Иоанн и брат его Иаков уверяли так же лениво, что не более десяти. Вдруг Иисус быстро поднялся.

— Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте, — сказал он и быстрыми шагами удалился в чащу и скоро пропал в неподвижности теней и света.

— Куда он? — сказал Иоанн, приподнявшись на локте. Петр повернул голову вслед ушедшему и утомленно ответил:

— Не знаю.

И, еще раз громко зевнув, опрокинулся на спину и затих. Затихли и остальные, и крепкий сон здоровой усталости охватил их неподвижные тела. Сквозь тяжелую дрему Петр видел смутно что-то белое, наклонившееся над ним, и чей-то голос прозвучал и погас, не оставив следа в его помраченном сознании.

— Симон, ты спишь?

И опять он спал, и опять какой-то тихий голос коснулся его слуха и погас, не оставив следа:

— Так ли и одного часа не могли вы бодрство-

вать со мною?

«Ах, Господи, если бы ты знал, как мне хочется спать», — подумал он в полусне, но ему показалось, что сказал он это громко. И снова он уснул, и много как будто прошло времени, когда внезапно выросла около него фигура Иисуса, и громкий будящий голос мгновенно отрезвил его и остальных:

— Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час — вот предается сын человеческий в руки грешников.

Ученики быстро вскочили на ноги, растерянно хватая свои плащи и дрожа от холода внезапного пробуждения. Сквозь чащу деревьев, озаряя их бегучим огнем факелов, с топотом и шумом, в лязге оружия и хрусте ломающихся веток приближалась толпа воинов и служителей храма. А с другой стороны прибегали трясущиеся от холода ученики с испуганными, заспанными лицами и, еще не понимая, в чем дело, торопливо спрашивали:

— Что это? Что это за люди с факелами?

Бледный Фома, со сбившимся на сторону прямым усом, зябко лязкал зубами и говорил Петру:

— По-видимому, это пришли за нами.

Вот толпа воинов окружила их, и дымный, тре-

вожный блеск огней отогнал куда-то в стороны и вверх тихое сияние луны. Впереди воинов торопливо двигался Иуда из Кариота и, остро ворочая живым глазом своим, разыскивал Иисуса. Нашел его, на миг остановился взором на его высокой, тонкой фигуре и быстро шепнул служителям:

— Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно. Но только осторожно, вы слыхали?

Затем быстро придвинулся к Иисусу, ожидавшему его молча, и погрузил, как нож, свой прямой и острый взгляд в его спокойные, потемневшие глаза.

— Радуйся, равви! — сказал он громко, вкладывая странный и грозный смысл в слова обычного приветствия.

Но Иисус молчал, и с ужасом глядели на предателя ученики, не понимая, как может столько зла вместить в себя душа человека. Быстрым взглядом окинул Искариот их смятенные ряды, заметил трепет, готовый перейти в громко ляскающую дрожь испуга, заметил бледность, бессмысленные улыбки, вялые движения рук, точно стянутых железом у предплечья, — и зажглась в его сердце смертельная скорбь, подобная той, какую испытал перед этим Христос. Вытя-

нувшись в сотню громко звенящих, рыдающих струн, он быстро рванулся к Иисусу и нежно поцеловал его холодную щеку. Так тихо, так нежно, с такой мучительной любовью и тоской, что, будь Иисус цветком на тоненьком стебельке, он не колыхнул бы его этим поцелуем и жемчужной росы не сронил бы с чистых лепестков.

— Иуда, — сказал Иисус и молнией своего взора осветил ту чудовищную груду насторожившихся теней, что была душой Искариота, — но в бездонную глубину ее не мог проникнуть. — Иуда! Целованием ли предаешь сына человеческого?

И видел, как дрогнул и пришел в движение весь этот чудовищный хаос. Безмолвным и строгим, как смерть в своем гордом величии, стоял Иуда из Кариота, а внутри его все стонало, гремело и выло тысячью буйных и огненных голосов:

«Да! Целованием любви предаем мы тебя. Целованием любви предаем мы тебя на поругание, на истязания, на смерть! Голосом любви скликаем мы палачей из темных нор и ставим крест — и высоко над теменем земли мы поднимаем на кресте любовью распятую любовь».

Так стоял Иуда, безмолвный и холодный, как смерть, а крику души его отвечали крики и шум, поднявшиеся вокруг Иисуса. С грубой нереши-

тельностью вооруженной силы, с неловкостью смутно понимаемой цели уже хватали его за руки солдаты и тащили куда-то, свою нерешительность принимая за сопротивление, свой страх — за насмешку над ними и издевательство. Как кучка испуганных ягнят, теснились ученики, ничему не препятствуя, но всем мешая — и даже самим себе; и только немногие решались ходить и действовать отдельно от других. Толкаемый со всех сторон, Петр Симонов с трудом, точно потеряв все свои силы, извлек из ножен меч и слабо, косым ударом опустил его на голову одного из служителей, — но никакого вреда не причинил. И заметивший это Иисус приказал ему бросить ненужный меч, и, слабо звякнув, упало под ноги железо, столь видимо лишенное своей колющей и убивающей силы, что никому не пришло в голову поднять его. Так и валялось оно под ногами, и много дней спустя нашли его на том же месте играющие дети и сделали его своей забавой.

Солдаты распихивали учеников, а те вновь собирались и тупо лезли под ноги, и это продолжалось до тех пор, пока не овладела солдатами презрительная ярость. Вот один из них, насупив брови, двинулся к кричащему Иоанну; другой грубо столкнул с своего плеча руку Фомы, в чем-то

убеждавшего его, и к самым прямым и прозрачным глазам его поднес огромный кулак, — и побежал Иоанн, и побежали Фома и Иаков, и все ученики, сколько ни было их здесь, оставив Иисуса, бежали. Теряя плащи, ушибаясь о деревья, натыкаясь на камни и падая, они бежали в горы, гонимые страхом, и в тишине лунной ночи звонко гудела земля под топотом многочисленных ног. Кто-то неизвестный, по-видимому только что вставший с постели, ибо был покрыт он только одним одеялом, возбужденно сновал в толпе воинов и служителей. Но, когда его хотели задержать и схватили за одеяло, он испуганно вскрикнул и бросился бежать, как и другие, оставив свою одежду в руках солдат. Так совершенно голый бежал он отчаянными скачками, и нагое тело его странно мелькало под луною.

Когда Иисуса увели, вышел из-за деревьев притаившийся Петр и в отдалении последовал за учителем. И, увидя впереди себя другого человека, шедшего молча, подумал, что это Иоанн, и тихо окликнул его:

— Иоанн, это ты?

— А, это ты, Петр? — ответил тот, остановившись, и по голосу Петр признал в нем предателя. — Почему же ты, Петр, не убежал вместе с

другими?

Петр остановился и с отвращением произнес:

— Отойди от меня, сатана!

Иуда засмеялся и, не обращая более внимания на Петра, пошел дальше, туда, где дымно сверкали факелы и лязг оружия смешивался с отчетливым звуком шагов. Двинулся осторожно за ним и Петр, и так почти одновременно вошли они во двор первосвященника и вмешались в толпу служителей, гревшихся у костров. Хмуро грел над огнем свои костлявые руки Иуда и слышал, как где-то позади него громко заговорил Петр:

— Нет, я не знаю его.

Но там, очевидно, настаивали на том, что он из учеников Иисуса, потому что еще громче Петр повторил:

— Да нет же, я не понимаю, что вы говорите!

Не оглядываясь и нехотя улыбаясь, Иуда мотнул утвердительно головой и пробормотал:

— Так, так, Петр! Никому не уступай своего места возле Иисуса!

И не видел он, как ушел со двора перепуганный Петр, чтобы не показываться более. И с этого вечера до самой смерти Иисуса не видел Иуда вблизи его ни одного из учеников; и среди всей этой толпы были только они двое, неразлучные

до самой смерти, дико связанные общностью страданий, — тот, кого предали на поругание и муки, и тот, кто его предал. Из одного кубка страданий, как братья, пили они оба, преданный и предатель, и огненная влага одинаково опаляла чистые и нечистые уста.

Пристально глядя на огонь костра, наполнявший глаза ощущением жара, протягивая к огню длинные шевелящиеся руки, весь бесформенный в путанице рук и ног, дрожащих теней и света, Искариот бормотал жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Так, вероятно, когда уезжают ночью рыбаки, оставив на берегу тлеющий костер, из темной глубины моря вылезает нечто, подползает к огню, смотрит на него пристально и дико, тянется к нему всеми членами своими и бормочет жалобно и хрипло:

— Как холодно! Боже мой, как холодно!

Вдруг за своей спиной Иуда услышал взрыв громких голосов, крики и смех солдат, полные знакомой, сонно жадной злобы, и хлесткие, короткие удары по живому телу. Обернулся, пронизанный мгновенной болью всего тела, всех костей, — это били Иисуса.

Так вот оно!

Видел, как солдаты увели Иисуса к себе в караульню. Ночь проходила, гасли костры и покрывались пеплом, а из караульни все еще неслись глухие крики, смех и ругательства. Это били Иисуса. Точно заблудившись, Искариот проворно бегал по обезлюдевшему двору, останавливался с разбегу, поднимал голову и снова бежал, удивленно натыкаясь на костры, на стены. Потом прилипал к стене караульни и, вытягиваясь, присасывался к окну, к щелям дверей и жадно разглядывал, что делается там. Видел тесную, душную комнату, грязную, как все караульни в мире, с заплеванным полом и такими замасленными, запятнанными стенами, точно по ним ходили или валялись. И видел человека, которого били. Его били по лицу, по голове, перебрасывали, как мягкий тюк, с одного конца на другой; и так как он не кричал и не сопротивлялся, то минутами, после напряженного смотрения, действительно начинало казаться, что это не живой человек, а какая-то мягкая кукла, без костей и крови. И выгибалась она странно, как кукла, и когда при падении ударялась головой о камни пола, то не было впечатления удара твердым о твердое, а все то же мягкое, безболезненное. И когда долго смотреть, то становилось похоже на

какую-то бесконечную, странную игру — иногда до полного почти обмана. После одного сильного толчка человек, или кукла, опустился плавным движением на колени к сидящему солдату; тот, в свою очередь, оттолкнул, и оно, перевернувшись, село к следующему, и так еще и еще. Поднялся сильный хохот, и Иуда также улыбнулся — точно чья-то сильная рука железными пальцами разодрала ему рот. Это был обманут рот Иуды.

Ночь тянулась, и костры еще тлели. Иуда отвалился от стены и медленно прибрел к одному из костров, раскопал уголь, поправил его, и хотя холода теперь не чувствовал, протянул над огнем слегка дрожащие руки. И забормотал тоскливо:

— Ах, больно, очень больно, сыночек мой, сыночек, сыночек. Больно, очень больно!..

Потом опять пошел к окну, желтеющему тусклым огнем в прорезе черной решетки, и снова стал смотреть, как бьют Иисуса. Один раз перед самыми глазами Иуды промелькнуло его смуглое, теперь обезображенное лицо в чаще спутавшихся волос. Вот чья-то рука впилась в эти волосы, повалила человека и, равномерно переворачивая голову с одной стороны на другую, стала лицом его вытирать заплеванный пол. Под самым окном спал солдат, открыв рот с белыми

блестящими зубами; вот чья-то широкая спина с толстой, голой шеей загородила окно, и больше ничего уже не видно. И вдруг стало тихо.

Что это? Почему они молчат? Вдруг они догадались?

Мгновенно вся голова Иуды, во всех частях своих, наполняется гулом, криком, ревом тысяч взбесившихся мыслей. Они догадались? Они поняли, что это — самый лучший человек? — это так просто, так ясно. Что там теперь? Стоят перед ним на коленях и плачут тихо, целуя его ноги. Вот выходит он сюда, а за ним ползут покорно те — выходит сюда, к Иуде, выходит победителем, мужем, властелином правды, богом…

— Кто обманывает Иуду? Кто прав?

Но нет. Опять крик и шум. Бьют опять. Не поняли, не догадались и бьют еще сильнее, еще больнее бьют. А костры догорают, покрываясь пеплом, и дым над ними так же прозрачно синь, как и воздух, и небо так же светло, как и луна. Это наступает день.

— Что такое день? — спрашивает Иуда.

Вот все загорелось, засверкало, помолодело, и дым наверху уже не синий, а розовый. Это восходит солнце.

— Что такое солнце? — спрашивает Иуда.

VIII

На Иуду показывали пальцами, и некоторые презрительно, другие с ненавистью и страхом говорили:

— Смотрите: это Иуда Предатель!

Это уже начиналась позорная слава его, на которую обрек он себя вовеки. Тысячи лет пройдут, народы сменятся народами, а в воздухе все еще будут звучать слова, произносимые с презрением и страхом добрыми и злыми:

— Иуда Предатель… Иуда Предатель!

Но он равнодушно слушал то, что говорили про него, поглощенный чувством всепобеждающего жгучего любопытства. С самого утра, когда вывели из караульни избитого Иисуса, Иуда ходил за ним и как-то странно не ощущал ни тоски, ни боли, ни радости — одно только непобедимое желание все видеть и все слышать. Хотя не спал всю ночь, но тело свое чувствовал легким; когда его не пропускали вперед, теснили, он расталкивал народ толчками и проворно вылезал на первое место; и ни минуты не оставался в покое его живой и быстрый глаз. При допросе Иисуса Каиафой, чтобы не пропустить ни одного слова,

он оттопыривал рукою ухо и утвердительно мотал головою, бормоча:

— Так! Так! Ты слышишь, Иисус!

Но свободным он не был — как муха, привязанная на нитку: жужжа летает она туда и сюда, но ни на одну минуту не оставляет ее послушная и упорная нитка. Какие-то каменные мысли лежали в затылке у Иуды, и к ним он был привязан крепко; он не знал как будто, что это за мысли, не хотел их трогать, но чувствовал их постоянно. И минутами они вдруг надвигались на него, наседали, начинали давить всею своею невообразимой тяжестью — точно свод каменной пещеры медленно и страшно опускался на его голову. Тогда он хватался рукою за сердце, старался шевелиться весь, как озябший, и спешил перевести глаза на новое место, еще на новое место. Когда Иисуса выводили от Каиафы, он совсем близко встретил его утомленный взор и, как-то не отдавая отчета, несколько раз дружелюбно кивнул головою.

— Я здесь, сынок, здесь! — пробормотал он торопливо и со злобой толкнул в спину какого-то ротозея, стоявшего ему на дороге. Теперь огромной, крикливой толпою все двигались к Пилату, на последний допрос и суд, и с тем же невыносимым любопытством Иуда быстро и жад-

но разглядывал лица все прибывавшего народа. Многие были совершенно незнакомы, их никогда не видел Иуда, но встречались и те, которые кричали Иисусу: «Осанна!» — и с каждым шагом количество их как будто возрастало.

«Так, так! — быстро подумал Иуда, и голова его закружилась, как у пьяного. — Все кончено. Вот сейчас закричат они: это наш, это Иисус, что вы делаете? И все поймут и…»

Но верующие шли молча. Одни притворно улыбались, делая вид, что все это не касается их; другие что-то сдержанно говорили, но в гуле движения, в громких и исступленных криках врагов Иисуса бесследно тонули их тихие голоса. И опять стало легко. Вдруг Иуда заметил невдалеке осторожно пробиравшегося Фому и, что-то быстро придумав, хотел к нему подойти. При виде предателя Фома испугался и хотел скрыться, но в узенькой, грязной уличке, между двух стен, Иуда нагнал его.

— Фома! Да погоди же!

Фома остановился и, протягивая вперед обе руки, торжественно произнес:

— Отойди от меня, сатана.

Искариот нетерпеливо махнул рукою.

— Какой ты глупый, Фома, я думал, что ты умнее

других. Сатана! Сатана! Ведь это надо доказать.

Опустив руки, Фома удивленно спросил:

— Но разве не ты предал учителя? Я сам видел, как ты привел воинов и указал им на Иисуса. Если это не предательство, то что же тогда предательство?

— Другое, другое, — торопливо сказал Иуда. — Слушай, вас здесь много. Нужно, чтобы вы все собрались вместе и громко потребовали: отдайте Иисуса, он наш. Вам не откажут, не посмеют. Они сами поймут…

— Что ты! Что ты, — решительно отмахнулся руками Фома, — разве ты не видел, сколько здесь вооруженных солдат и служителей храма. И потом суда еще не было, и мы не должны препятствовать суду. Разве он не поймет, что Иисус невинен, и не повелит немедля освободить его.

— Ты тоже так думаешь? — задумчиво спросил Иуда. — Фома, Фома, но если это правда? Что же тогда? Кто прав? Кто обманул Иуду?

— Мы сегодня говорили всю ночь и решили: не может суд осудить невинного. Если же он осудит…

— Ну! — торопил Искариот.

— …то это не суд. И им же придется худо, когда надо будет дать ответ перед настоящим Судиею.

— Перед настоящим! Есть еще настоящий! — засмеялся Иуда.

— И все наши прокляли тебя, но так как ты говоришь, что не ты предатель, то, я думаю, тебя следовало бы судить…

Недослушав, Иуда круто повернул и быстро устремился вниз по уличке, вслед за удаляющейся толпой. Но вскоре замедлил шаги и пошел неторопливо, подумав, что когда идет много народу, то всегда идут они медленно, и одиноко идущий непременно нагонит их.

Когда Пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжелыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блистающих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь все кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, окровавленного, бледного, в терновом венце, остриями своими вонзавшемся в лоб; у края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал, был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого, только безумец не понял бы. И молчал народ — так тихо было,

что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле.

«Так. Все кончено. Сейчас они поймут», — подумал Иуда, и вдруг что-то странное, похожее на ослепительную радость падения с бесконечно высокой горы в голубую сияющую бездну, остановило его сердце.

Презрительно оттянув губы вниз, к круглому бритому подбородку, Пилат бросает в толпу сухие, короткие слова — так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса:

— Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ; и вот я при вас исследовал и не нашел человека этого виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его…

Иуда закрыл глаза. Ждет.

И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов:

— Смерть ему! Распни его! Распни его!

И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит, вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов:

— Варраву отпусти нам! Его распни! Распни!

Но ведь еще римлянин не сказал своего решающего слова: по его бритому надменному лицу пробегают судороги отвращения и гнева. Он понимает, он понял! Вот он говорит тихо служителям своим, но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев?

— Принесите воды.

Воды? Какой воды? Зачем?

Вот он моет руки — зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки — и злобно кричит, поднимая их, удивленно молчащему народу:

— Неповинен я в крови праведника этого. Смотрите вы!

Еще скатывается с пальцев вода на мраморные плиты, когда что-то мягко распластывается у ног Пилата, и горячие, острые губы целуют его бессильно сопротивляющуюся руку — присасываются к ней, как щупальца, тянут кровь, почти кусают. С отвращением и страхом он взглядывает вниз — видит большое извивающееся тело, дико двоящееся лицо и два огромные глаза, так странно непохожие друг на друга, как будто не одно существо, а множество их цепляется за его ноги и

руки. И слышит ядовитый шепот, прерывистый, горячий:

— Ты мудрый!.. Ты благородный!.. Ты мудрый, мудрый!..

И такой поистине сатанинскою радостью пылает это дикое лицо, что с криком ногою отталкивает его Пилат, и Иуда падает навзничь. И, лежа на каменных плитах, похожий на опрокинутого дьявола, он все еще тянется рукою к уходящему Пилату и кричит, как страстно влюбленный:

— Ты мудрый! Ты мудрый! Ты благородный!

Затем проворно поднимается и бежит, провожаемый хохотом солдат. Ведь еще не все кончено. Когда они увидят крест, когда они увидят гвозди, они могут понять, и тогда… Что тогда? Видит мельком оторопелого бледного Фому и зачем-то, успокоительно кивнув ему головою, нагоняет Иисуса, ведомого на казнь. Идти тяжело, мелкие камни скатываются под ногами, и вдруг Иуда чувствует, что он устал. Весь уходит в заботу о том, чтобы лучше ставить ногу, тускло смотрит по сторонам и видит плачущую Марию Магдалину, видит множество плачущих женщин — распущенные волосы, красные глаза, искривленные уста, — всю безмерную печаль нежной женской души, отданной на поругание. Оживляется вне-

запно и, улучив мгновение, подбегает к Иисусу:

— Я с тобою, — шепчет он торопливо.

Солдаты отгоняют его ударами бичей, и, извиваясь, чтобы ускользнуть от ударов, показывая солдатам оскаленные зубы, он поясняет торопливо:

— Я с тобою. Туда. Ты понимаешь, туда!

Вытирает с лица кровь и грозит кулаком солдату, который оборачивается, смеясь, и показывает на него другим. Ищет зачем-то Фому — но ни его, ни одного из учеников нет в толпе провожающих. Снова чувствует усталость и тяжело передвигает ноги, внимательно разглядывая острые, белые, рассыпающиеся камешки.

* * *

…Когда был поднят молот, чтобы пригвоздить к дереву левую руку Иисуса, Иуда закрыл глаза и целую вечность не дышал, не видел, не жил, а только слушал. Но вот со скрежетом ударилось железо о железо, и раз за разом тупые, короткие, низкие удары, — слышно, как входит острый гвоздь в мягкое дерево, раздвигая частицы его…

Одна рука. Еще не поздно.

Другая рука. Еще не поздно.

Нога, другая нога — неужели все кончено?

Нерешительно раскрывает глаза и видит, как поднимается, качаясь, крест и устанавливается в яме. Видит, как, напряженно содрогаясь, вытягиваются мучительно руки Иисуса, расширяют раны — и внезапно уходит под ребра опавший живот. Тянутся, тянутся руки, становятся тонкие, белеют, вывертываются в плечах, и раны под гвоздями краснеют, ползут — вот оборвутся они сейчас… Нет, остановилось. Все остановилось. Только ходят ребра, поднимаемые коротким, глубоким дыханием.

На самом темени земли вздымается крест — и на нем распятый Иисус. Осуществился ужас и мечты Искариота, — он поднимается с колен, на которых стоял зачем-то, и холодно оглядывается кругом. Так смотрит суровый победитель, который уже решил в сердце своем предать все разрушению и смерти и в последний раз обводит взором чужой и богатый город, еще живой и шумный, но уже призрачный под холодною рукою смерти. И вдруг так же ясно, как ужасную победу свою, видит Искариот ее зловещую шаткость. А вдруг они поймут? Еще не поздно. Иисус еще жив. Вот смотрит он зовущими, тоскующими глазами…

Что может удержать от разрыва тоненькую

пленку, застилающую глаза людей, такую тоненькую, что ее как будто нет совсем? Вдруг — они поймут? Вдруг всею своею грозною массой мужчин, женщин и детей они двинутся вперед, молча, без крика, сотрут солдат, зальют их по уши своею кровью, вырвут из земли проклятый крест и руками оставшихся в живых высоко над теменем земли поднимут свободного Иисуса! Осанна! Осанна!

Осанна? Нет, лучше Иуда ляжет на землю. Нет, лучше, лежа на земле и ляская зубами, как собака, он будет высматривать и ждать, пока не поднимутся все те. Но что случилось с временем? То почти останавливается оно, так что хочется пихать его руками, бить ногами, кнутом, как ленивого осла, — то безумно мчится оно с какой-то горы и захватывает дыхание, и руки напрасно ищут опоры. Вон плачет Мария Магдалина. Вон плачет мать Иисуса. Пусть плачут. Разве значат сейчас что-нибудь ее слезы, слезы всех матерей, всех женщин в мире!

— Что такое слезы? — спрашивает Иуда и бешено толкает неподвижное время, бьет его кулаками, проклинает, как раба. Оно чужое и оттого так непослушно. О, если бы оно принадлежало Иуде, — но оно принадлежит всем этим плачу-

щим, смеющимся, болтающим, как на базаре; оно принадлежит солнцу; оно принадлежит кресту и сердцу Иисуса, умирающему так медленно.

Какое подлое сердце у Иуды! Он держит его рукою, а оно кричит «Осанна!» так громко, что вот услышат все. Он прижимает его к земле, а оно кричит: «Осанна, осанна!» — как болтун, который на улице разбрасывает святые тайны… Молчи! Молчи!

Вдруг громкий, оборванный плач, глухие крики, поспешное движение к кресту. Что это? Поняли?

Нет, умирает Иисус. И это может быть? Да, Иисус умирает. Бледные руки неподвижны, но по лицу, по груди и ногам пробегают короткие судороги. И это может быть? Да, умирает. Дыхание реже. Остановилось… Нет, еще вздох, еще на земле Иисус. И еще? Нет… Нет… Нет… Иисус умер.

Свершилось. Осанна! Осанна!

* * *

Осуществился ужас и мечты. Кто вырвет теперь победу из рук Искариота? Свершилось. Пусть все народы, какие есть на земле, стекутся к Голгофе и возопиют миллионами своих глоток: «Осанна, Осанна!» — и моря крови и слез прольют к под-

ножию ее — они найдут только позорный крест и мертвого Иисуса.

Спокойно и холодно Искариот оглядывает умершего, останавливается на миг взором на щеке, которую еще только вчера поцеловал он прощальным поцелуем, и медленно отходит. Теперь все время принадлежит ему, и идет он неторопливо; теперь вся земля принадлежит ему, и ступает он твердо, как повелитель, как царь, как тот, кто беспредельно и радостно в этом мире одинок. Замечает мать Иисуса и говорит ей сурово:

— Ты плачешь, мать? Плачь, плачь, и долго еще будут плакать с тобою все матери земли. Дотоле, пока не придем мы вместе с Иисусом и не разрушим смерть.

Что он — безумен или издевается, этот предатель? Но он серьезен, и лицо его строго, и в безумной торопливости не бегают его глаза, как прежде. Вот останавливается он и с холодным вниманием осматривает новую, маленькую землю. Маленькая она стала, и всю ее он чувствует под своими ногами; смотрит на маленькие горы, тихо краснеющие в последних лучах солнца, и горы чувствует под своими ногами; смотрит на небо, широко открывшее свой синий рот,

смотрит на кругленькое солнце, безуспешно старающееся обжечь и ослепить, — и небо и солнце чувствует под своими ногами. Беспредельно и радостно одинокий, он гордо ощутил бессилие всех сил, действующих в мире, и все их бросил в пропасть.

И дальше идет он спокойными и властными шагами. И не идет время ни спереди, ни сзади; покорное, вместе с ним движется оно всею своей незримою громадой.

Свершилось.

IX

Старым обманщиком, покашливая, льстиво улыбаясь, кланяясь бесконечно, явился перед синедрионом Иуда из Кариота — Предатель. Это было на другой день после убийства Иисуса, около полудня. Тут были все они, его судьи и убийцы: и престарелый Анна со своими сыновьями, тучными и отвратительными подобиями отца, и снедаемый честолюбием Каиафа, зять его, и все другие члены синедриона, укравшие имена свои у памяти людской — богатые и знатные саддукеи, гордые силою своею и знанием закона. Молча встретили они Предателя, и надменные лица их остались неподвижны: как будто не вошло ничего. И даже самый маленький из них и ничтожный, на которого другие не обращали внимания, поднимал кверху свое птичье лицо и смотрел так, будто не вошло ничего. Иуда кланялся, кланялся, кланялся, а они смотрели и молчали: как будто не человек вошел, а только вползло нечистое насекомое, которого не видно. Но не такой был человек Иуда из Кариота, чтобы смутиться: они молчали, а он себе кланялся и думал, что если и до вечера придется, то и до вечера

он будет кланяться.

Наконец нетерпеливый Каиафа спросил:

— Что надо тебе?

Иуда еще раз поклонился и громко сказал:

— Это я, Иуда из Кариота, тот, что предал вам Иисуса Назарея.

— Так что же? Ты получил свое. Ступай! — приказал Анна, но Иуда как будто не слыхал приказания и продолжал кланяться. И, взглянув на него, Каиафа спросил Анну:

— Сколько ему дали?

— Тридцать серебреников.

Каиафа усмехнулся, усмехнулся и сам седой Анна, и по всем надменным лицам скользнула веселая улыбка; а тот, у которого было птичье лицо, даже засмеялся. И, заметно бледнея, быстро подхватил Иуда:

— Так, так. Конечно, очень мало, но разве Иуда недоволен, разве Иуда кричит, что его ограбили? Он доволен. Разве не святому делу он послужил? Святому. Разве не самые мудрые люди слушают теперь Иуду и думают: он наш, Иуда из Кариота, он наш брат, наш друг, Иуда из Кариота, Предатель? Разве Анне не хочется стать на колени и поцеловать у Иуды руку? Но только Иуда не даст, он трус, он боится, что его укусят.

Каиафа сказал:

— Выгони этого пса. Что он лает?

— Ступай отсюда. Нам нет времени слушать твою болтовню, — равнодушно сказал Анна.

Иуда выпрямился и закрыл глаза. То притворство, которое так легко носил он всю свою жизнь, вдруг стало невыносимым бременем; и одним движением ресниц он сбросил его. И когда снова взглянул на Анну, то был взор его прост, и прям, и страшен в своей голой правдивости. Но и на это не обратили внимания.

— Ты хочешь, чтобы тебя выгнали палками? — крикнул Каиафа.

Задыхаясь под тяжестью страшных слов, которые он поднимал все выше и выше, чтобы бросить их оттуда на головы судей, Иуда хрипло спросил:

— А вы знаете… вы знаете… кто был он — тот, которого вчера вы осудили и распяли?

— Знаем. Ступай!

Одним словом он прорвет сейчас ту тонкую пленку, что застилает их глаза, — и вся земля дрогнет под тяжестью беспощадной истины! У них была душа — они лишатся ее; у них была жизнь — они потеряют жизнь; у них был свет перед очами — вечная тьма и ужас покроют их.

Осанна! Осанна!

И вот они, эти страшные слова, раздирающие горло:

— Он не был обманщик. Он был невинен и чист. Вы слышите? Иуда обманул вас. Он предал вам невинного.

Ждет. И слышит равнодушный, старческий голос Анны:

— И это все, что ты хотел сказать?

— Кажется, вы не поняли меня, — говорит Иуда с достоинством, бледнея. — Иуда обманул вас. Он был невинен. Вы убили невинного.

Тот, у которого птичье лицо, улыбается, но Анна равнодушен, Анна скучен, Анна зевает. И зевает вслед за ним Каиафа и говорит утомленно:

— Что же мне говорили об уме Иуды из Кариота? Это просто дурак, очень скучный дурак.

— Что! — кричит Иуда, весь наливаясь темным бешенством. — А кто вы, умные! Иуда обманул вас — вы слышите! Не его он предал, а вас, мудрых, вас, сильных, предал он позорной смерти, которая не кончится вовеки. Тридцать серебреников! Так, так. Но ведь это цена вашей крови, грязной, как те помои, что выливают женщины за ворота домов своих. Ах, Анна, старый, седой, глупый Анна, наглотавшийся закона, — зачем

ты не дал одним серебреником, одним оболом больше! Ведь в этой цене пойдешь ты вовеки!

— Вон! — закричал побагровевший Каиафа. Но Анна остановил его движением руки и все так же равнодушно спросил Иуду:

— Теперь все?

— Ведь если я пойду в пустыню и крикну зверям: звери, вы слышали, во сколько оценили люди своего Иисуса, что сделают звери? Они вылезут из логовищ, они завоют от гнева, они забудут свой страх перед человеком и все придут сюда, чтобы сожрать вас! Если я скажу морю: море, ты знаешь, во сколько люди оценили своего Иисуса? Если я скажу горам: горы, вы знаете, во сколько люди оценили Иисуса? И море и горы оставят свои места, определенные извека, и придут сюда, и упадут на головы ваши!

— Не хочет ли Иуда стать пророком? Он говорит так громко! — насмешливо заметил тот, у которого было птичье лицо, и заискивающе взглянул на Каиафу.

— Сегодня я видел бледное солнце. Оно смотрело с ужасом на землю и говорило: где же человек? Сегодня я видел скорпиона. Он сидел на камне и смеялся и говорил: где же человек? Я подошел близко и в глаза ему посмотрел. И он смеялся и

говорил: где же человек, скажите мне, я не вижу! Или ослеп Иуда, бедный Иуда из Кариота!

И Искариот громко заплакал. Был он в эти минуты похож на безумного, и Каиафа, отвернувшись, презрительно махнул рукою. Анна же подумал немного и сказал:

— Я вижу, Иуда, что ты действительно получил мало, и это волнует тебя. Вот еще деньги, возьми и отдай своим детям.

Он бросил что-то, звякнувшее резко. И еще не замолк этот звук, как другой, похожий, странно продолжил его: это Иуда горстью бросал серебреники и оболы в лица первосвященника и судей, возвращая плату за Иисуса. Косым дождем криво летели монеты, попадая в лица, на стол, раскатываясь по полу. Некоторые из судей закрывались руками, ладонями наружу, другие, вскочив с мест, кричали и бранились. Иуда, стараясь попасть в Анну, бросил последнюю монету, за которою долго шарила в мешке его дрожащая рука, плюнул и гневно вышел.

— Так, так! — бормотал он, быстро проходя по уличкам и пугая детей. — Ты, кажется, плакал, Иуда? Разве действительно прав Каиафа, говоря, что глуп Иуда из Кариота? Кто плачет в день великой мести, тот недостоин ее — знаешь ли ты

это, Иуда? Не давай глазам твоим обманывать тебя, не давай сердцу твоему лгать, не заливай огня слезами, Иуда из Кариота!

Ученики Иисуса сидели в грустном молчании и прислушивались к тому, что делается снаружи дома. Еще была опасность, что месть врагов Иисуса не ограничится им одним, и все ждали вторжения стражи и, быть может, новых казней. Возле Иоанна, которому, как любимому ученику Иисуса, была особенно тяжела смерть его, сидели Мария Магдалина и Матфей и вполголоса утешали его. Мария, у которой лицо распухло от слез, тихо гладила рукою его пышные волнистые волосы, Матфей же наставительно говорил словами Соломона:

— Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города.

В это мгновение, громко хлопнув дверью, вошел Иуда Искариот. Все испуганно вскочили и вначале даже не поняли, кто это, а когда разглядели ненавистное лицо и рыжую бугроватую голову, то подняли крик. Петр же поднял обе руки и закричал:

— Уходи отсюда, Предатель! Уходи, иначе я убью тебя!

Но всмотрелись лучше в лицо и глаза Предате-

ля и смолкли, испуганно шепча:

— Оставьте! Оставьте его! В него вселился сатана.

Выждав тишину, Иуда громко воскликнул:

— Радуйтесь, глаза Иуды из Кариота! Холодных убийц вы видели сейчас — и вот уже трусливые предатели пред вами! Где Иисус? Я вас спрашиваю: где Иисус?

Было что-то властное в хриплом голосе Искариота, и покорно ответил Фома:

— Ты же сам знаешь, Иуда, что учителя нашего вчера вечером распяли.

— Как же вы позволили это? Где же была ваша любовь? Ты, любимый ученик, ты — камень, где были вы, когда на дереве распинали вашего друга?

— Что же могли мы сделать, посуди сам, — развел руками Фома.

— Ты это спрашиваешь, Фома? Так, так! — склонил голову набок Иуда из Кариота и вдруг гневно обрушился: — Кто любит, тот не спрашивает, что делать! Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага и кости ломает у него! Кто любит! Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих: «Что мне делать? мой сын утопает!» — а не бросаешься сам в

воду и не тонешь рядом с сыном. Кто любит!

Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды:

— Я обнажил меч, но он сам сказал — не надо.

— Не надо? И ты послушался? — засмеялся Искариот. — Петр, Петр, разве можно его слушать! Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе!

— Кто не повинуется ему, тот идет в геенну огненную.

— Отчего же ты не пошел? Отчего ты не пошел, Петр? Геенна огненная — что такое геенна? Ну и пусть бы ты пошел — зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь, когда захочешь!

— Молчи! — крикнул Иоанн, поднимаясь. — Он сам хотел этой жертвы. И жертва его прекрасна!

— Разве есть прекрасная жертва, что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там! Жертва — это страдания для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу и хохочут и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса! И плюют на нее — как я!

Иуда гневно плюнул на землю.

— Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна! — настаивал Иоанн.

— Нет, вы на себя взяли весь грех. Любимый

ученик! Разве не от тебя начнется род предателей, порода малодушных и лжецов? Слепцы, что сделали вы с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса! Так, так — целовать крест обещает вам Иуда!

— Иуда, не оскорбляй! — прорычал Петр, багровея. — Как могли бы мы убить всех врагов его? Их так много!

— И ты, Петр! — с гневом воскликнул Иоанн. — Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель. Ты полон лжи! Учитель не велел убивать.

— Но разве он запретил вам и умирать? Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное, ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен? Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда из Кариота: умереть. Вы должны были пасть на дороге, за мечи, за руки хватать солдат. Утопить их в море своей крови — умереть, умереть! Пусть бы сам Отец его закричал от ужаса, когда все вы вошли бы туда!

Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил:

— Что это? Вы ели? Быть может, вы спали также?

— Я спал, — кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать. — Спал и ел.

Фома решительно и твердо сказал:

— Это все неверно, Иуда. Подумай: если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все: и Петр, и Иоанн, и я?

— А что такое сама правда в устах предателей? Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды. Засыпает сторож, и приходит вор, и уносит правду с собою, — скажи, где правда? Будь же ты проклят, Фома! Бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним, проклятые!

— Будь сам проклят, сатана! — крикнул Иоанн, и повторили его возглас Иаков, и Матфей, и все другие ученики. Только Петр молчал.

— Я иду к нему! — сказал Иуда, простирая вверх властную руку. — Кто за Искариотом к Иисусу?

— Я! Я с тобою! — крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря:

— Безумный! Ты забыл, что он предал учителя в руки врагов!

Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал:

— Куда же мне идти? Господи! Куда же мне идти!

* * *

Иуда давно уже, во время своих одиноких прогулок, наметил то место, где он убьет себя после смерти Иисуса. Это было на горе, высоко над Иерусалимом, и стояло там только одно дерево, кривое, измученное ветром, рвущим его со всех сторон, полузасохшее. Одну из своих обломанных кривых ветвей оно протянуло к Иерусалиму, как бы благословляя его или чем-то угрожая, и ее избрал Иуда для того, чтобы сделать на ней петлю. Но идти до дерева было далеко и трудно, и очень устал Иуда из Кариота. Все те же маленькие острые камешки рассыпались у него под ногами и точно тянули его назад, а гора была высока, обвеяна ветром, угрюма и зла. И уже несколько раз присаживался Иуда отдохнуть, и дышал тяжело, а сзади, сквозь расселины камней, холодом

дышала в его спину гора.

— Ты еще, проклятая! — говорил Иуда презрительно и дышал тяжело, покачивая тяжелой головою, в которой все мысли теперь окаменели. Потом вдруг поднимал ее, широко раскрывал застывшие глаза и гневно бормотал:

— Нет, они слишком плохи для Иуды. Ты слышишь, Иисус? Теперь ты мне поверишь? Я иду к тебе. Встреть меня ласково, я устал. Я очень устал. Потом мы вместе с тобою, обнявшись, как братья, вернемся на землю. Хорошо?

Опять качал каменеющей головою и опять широко раскрыл глаза, бормоча:

— Но, может быть, ты и там будешь сердиться на Иуду из Кариота? И не поверишь? И в ад меня пошлешь? Ну что же! Я пойду в ад! И на огне твоего ада я буду ковать железо и разрушу твое небо. Хорошо? Тогда ты поверишь мне? Тогда пойдешь со мною назад на землю, Иисус?

Наконец добрался Иуда до вершины и до кривого дерева, и тут стал мучить его ветер. Но когда Иуда выбранил его, то начал петь мягко и тихо, — улетал куда-то ветер и прощался.

— Хорошо, хорошо! А они собаки! — ответил ему Иуда, делая петлю. И так как веревка могла обмануть его и оборваться, то повесил он ее

над обрывом, — если оборвется, то все равно на камнях найдет он смерть. И перед тем как оттолкнуться ногою от края и повиснуть, Иуда из Кариота еще раз заботливо предупредил Иисуса:

— Так встреть же меня ласково, я очень устал, Иисус.

И прыгнул. Веревка натянулась, но выдержала: шея Иуды стала тоненькая, а руки и ноги сложились и обвисли, как мокрые. Умер. Так в два дня, один за другим, оставили землю Иисус Назарей и Иуда из Кариота, Предатель.

Всю ночь, как какой-то чудовищный плод, качался Иуда над Иерусалимом; и ветер поворачивал его то к городу лицом, то к пустыне — точно и городу и пустыне хотел он показать Иуду. Но, куда бы ни поворачивалось обезображенное смертью лицо, красные глаза, налитые кровью и теперь одинаковые, как братья, неотступно смотрели в небо. А наутро кто-то зоркий увидел над городом висящего Иуду и закричал в испуге. Пришли люди, и сняли его, и, узнав, кто это, бросили его в глухой овраг, куда бросали дохлых лошадей, кошек и другую падаль.

И в тот вечер уже все верующие узнали о страшной смерти Предателя, а на другой день узнал о ней весь Иерусалим. Узнала о ней каменистая Иудея, и зеленая Галилея узнала о ней; и до одного моря и до другого, которое еще дальше, долетела весть о смерти Предателя. Ни быстрее, ни тише, но вместе с временем шла она, и как нет конца у времени, так не будет конца рассказам о предательстве Иуды и страшной смерти его. И все — добрые и злые — одинаково предадут проклятию позорную память его; и у всех народов, какие были, какие есть, останется он одиноким в жестокой участи своей — Иуда из Кариота, Предатель.

24 февраля 1907 г.

Капри

Из рассказа, который никогда не будет окончен

Измученный жуткой неопределенностью дня, я заснул одетый на постели, когда жена разбудила меня. В руке у нее колыхалась свеча, и среди ночи она показалась мне яркою, как солнце. А за свечою колыхался бледный подбородок и неподвижно темнели огромные, незнакомые глаза.

— Ты знаешь, — сказала она, — ты знаешь: на нашей улице строят баррикады.

Было тихо, и мы смотрели друг на друга прямо в незнакомые глаза, и я чувствовал, как бледнеет мое лицо. Жизнь ушла куда-то — и снова вернулась с громким биением сердца. Было тихо, и пламя свечи колыхалось, и было оно маленькое, неяркое, но острое, как кривой меч.

— Ты боишься? — спросил я.

Бледный подбородок дрогнул, но глаза остались неподвижны и смотрели на меня не моргая, и только теперь я увидел, какие это незнакомые, какие это страшные глаза. Уже десять лет я смотрел в них и знал их лучше, чем свои, а теперь в них было новое, чего я не умею назвать. Гордость

— назвал бы я это, но там было другое, новое, совсем новое. Я взял руку: холодная, она ответила мне крепким пожатием, и в нем было новое, чего я не знал. Так еще ни разу не пожимала она моей руки.

— Давно? — спросил я.

— Уже с час. И брат уже ушел. Он, вероятно, боялся, что ты не отпустишь его, и ушел потихоньку. Но я видела.

Значит, это — правда: оно пришло. Я встал и почему-то долго умывался, как утром, когда шел на работу, и жена светила мне. Потом мы потушили свечу и подошли к окну на улицу. Была весна, был май, и в открытое окно ворвался такой воздух, какого никогда еще не было в старом огромном городе. Уже несколько дней стояли без работы фабрики и железные дороги, и свободный от угольного дыма воздух пропитался запахом поля и цветущих садов, быть может, росы. Я не знаю, что это пахнет так хорошо в весенние ночи, когда далеко-далеко уйдешь за город. И ни одного фонаря, и ни одного экипажа, и ни одного городского звука над бесконечной каменной поверхностью, — если закрыть глаза, то, правда, можно подумать, что это деревня. Лает собака — вот! Я еще ни разу не слыхал, как лает в городе

собака, и засмеялся от счастья.

— Послушай, — собака!..

Жена обняла меня и сказала:

— Они там на углу.

Мы перегнулись через подоконник и там в прозрачной темной глубине увидели какое-то движение. Не людей, а движение. Что-то ломали, что-то строили. Кто-то двигался, неуловимый, как тень. Вдруг застучало что-то: топор или молоток. Так звонко, весело — как в лесу, как на реке, когда чинят лодку или строят плотину. И, в предчувствии веселой, стройной работы, я крепко обнял жену, а она смотрела поверх домов, поверх крыш на молодой остророгий месяц, уже клонившийся к закату. Такой молоденький, такой смешной — как девушка, которая мечтает и боится сказать кому-нибудь о своих мечтах, и светит только для себя.

— Когда он станет полным…

— Не надо! Не надо, — перебила меня жена с непонятным мне испугом. — Не надо говорить о том, что будет. Зачем? Оно боится слов. Пойдем сюда.

В комнате было темно, и мы долго молчали, не видя друг друга, но думая об одном. И когда я заговорил, мне показалось, что это сказал кто-то

другой: я не боялся, а у этого голос был хриплый, точно он задыхался от жажды.

— Так как же?..

— А они?

— Ты будешь с ними, для них довольно матери. И я не могу.

— А я могу?

Я знаю, она не тронулась с места, но я почувствовал ясно: она уходит, она далеко — она далеко. И так холодно стало, и я протянул руки, но она отстранила их.

— В сто лет раз бывает у людей праздник, и ты хочешь меня лишить его. За что? — сказала она.

— Но тебя могут убить. И дети наши погибнут.

— Жизнь будет милостива к ним. Но даже если и погибнут они…

И это говорила она, жена моя, женщина, с которой я жил десять лет! Еще вчера она не знала ничего другого, кроме детей, и полна была страха за них; еще вчера она с ужасом ловила грозные признаки грядущего, — что сталось с нею? Вчера, — но ведь я тоже забыл обо всем, что было вчера.

— Ты хочешь идти со мной?

— Не сердись! — Она думала, что я сержусь. — Не сердись! Сегодня, когда они там застучали и

ты еще спал, я поняла, вдруг поняла, что муж, дети, все это — так, все это — пока. Я люблю тебя, очень, — она нашла мою руку и пожала ее тем же новым, незнакомым мне пожатием, — но ты слышишь, они стучат? Они стучат, и как будто падают, падают какие-то стены — и так просторно, так широко, так вольно! Сейчас ночь, а мне кажется, что сияет солнце. Мне тридцать лет, и я уже старая, а мне кажется, что мне семнадцать лет, и я люблю кого-то первою любовью — такой огромною, такой безграничной любовью!

— Какая ночь! — сказал я. — Точно нет города. Правда, и я забыл, сколько мне лет.

— Они стучат, и это — как музыка, как пение, о котором я мечтала всю жизнь. И я не знала, кого я люблю такой безумной любовью, от которой хочется и плакать, и смеяться, и петь. Так просторно, так широко — не отнимай у меня счастья, дай мне умереть с теми, кто работает там и так смело зовет будущее, и в гробах будит погибшее прошлое.

— Времени нет.

— Ты говоришь?

— Времени нет. Кто ты? Я тебя не знал. Ты человек?

Она засмеялась так звонко, как будто ей было

семнадцать лет.

— Да. Ведь и я этого не знала. И ты тоже человек? Как это странно и красиво: человек.

Давно уже было то, о чем я пишу, и те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись, — те не поверят мне: в те дни не было времени. Солнце всходило и заходило, и стрелка двигалась по кругу, а времени не было. И много другого чудесного и великого произошло в те дни, и не поверят мне те, кто спит сейчас тяжелым сном серой жизни и умирает, не проснувшись.

— Нужно идти, — сказал я.

— Погоди, я покормлю тебя. Ведь ты сегодня ничего не ел. И ты видишь, как я благоразумна: я пойду завтра. Отдам детей и найду тебя.

— Товарищ, — сказал я.

— Да, товарищ.

В открытые окна лился воздух полей и тишина, и изредка звонкий, веселый стук топора, а я сидел за столом и смотрел и слушал, и так загадочно ново было все, что хотелось смеяться. Я смотрел на стены, и они казались мне прозрачными. Точно всю вечность обнимая одним взглядом, я видел, как разрушатся они, и только один я был всегда и всегда буду. Все пройдет — а я буду. И

все казалось мне странным и смешным — таким ненастоящим: и стол, и кушанье, и все, что вне меня. Прозрачным и легким, существующим только нарочно, только пока.

— Почему же ты не ешь? — спросила жена.

Я улыбнулся:

— Хлеб — это так странно.

Она взглянула на хлеб, на черствый, сухой кусок хлеба, и почему-то лицо ее сделалось грустным. Все продолжая глядеть на него, она тихо поправляла руками передник, и голова ее немного, совсем немного повернулась в ту сторону, где спали дети.

— Тебе жаль их? — спросил я.

Она покачала головой, не отводя глаз от хлеба.

— Нет. Но я подумала о том, что было в жизни, — раньше было. Как это непонятно! И все, — она, удивляясь, как проснувшаяся после долгого сна, обвела глазами комнату, — и все так непонятно. Здесь мы жили.

— Ты была моей женой.

— А там наши дети.

— Здесь за стеною умер твой отец.

— Да. Умер. Умер, не проснувшись.

Заплакала, чего-то испугавшись во сне, самая маленькая. И так странен показался этот простой

детский крик, настойчиво требовавший своего — среди этих призрачных стен, когда там, внизу, строили баррикады.

Она плакала и требовала своего — ласки, каких-то смешных слов и обещаний, которые ее успокаивают. И быстро успокоилась.

— Ну, иди! — шепотом сказала жена.

— Мне бы хотелось поцеловать их.

— Боюсь, разбудишь.

— Нет, ничего.

Оказалось, старший не спал, слышал все и все понимал. Ему было всего девять лет, но он все понял — таким глубоким и строгим взглядом встретил он меня.

— Ты возьмешь ружье? — спросил он задумчиво и серьезно.

— Да, возьму.

— Оно под печкой?

— А ты откуда знаешь? Ну, поцелуй меня. Ты будешь меня помнить?

Он вскочил на постели в своей коротенькой рубашонке, весь горячий со сна, и крепко обнял мою шею. И руки у него были горячие и такие мягкие и нежные. Я поднял волоса у него на затылке и поцеловал горячую тонкую шейку.

— Тебя убьют? — прошептал он в самое ухо.

— Нет. Я вернусь.

Но почему он не плакал? Он плакал иногда, если я просто уходил из дому, — разве и его коснулось это? Кто знает — так много чудесного произошло в те великие дни!

Я взглянул на стены, на хлеб, на свечу, пламя которой все колыхалось, и взял жену за руку.

— Ну, до свидания.

— Да — до свидания.

И только, и я ушел. На лестнице было темно и пахло какой-то старой грязью; и, охваченный со всех сторон камнями и тьмою, ощупью находя ступеньки, я почувствовал новое, неведомое и радостное, куда я иду, — огромным радостным, всенаполняющим чувством.

1907 г.

Рассказ о семи повешенных

Посвящается Л.Н. Толстому

1. В час дня, ваше превосходительство

Так как министр был человек очень тучный, склонный к апоплексии, то со всякими предосторожностями, избегая вызвать опасное волнение, его предупредили, что на него готовится очень серьезное покушение. Видя, что министр встретил известие спокойно и даже с улыбкой, сообщили и подробности: покушение должно состояться на следующий день, утром, когда он выедет с докладом; несколько человек террористов, уже выданных провокатором и теперь находящихся под неусыпным наблюдением сыщиков, должны с бомбами и револьверами собраться в час дня у подъезда и ждать его выхода. Здесь их и схватят.

— Постойте, — удивился министр, — откуда же они знают, что я поеду в час дня с докладом, когда я сам узнал об этом только третьего дня?

Начальник охраны неопределенно развел руками:

— Именно в час дня, ваше превосходительство.

Не то удивляясь, не то одобряя действия полиции, которая устроила все так хорошо, министр покачал головою и хмуро улыбнулся толстыми темными губами; и с тою же улыбкой, покор-

но, не желая и в дальнейшем мешать полиции, быстро собрался и уехал ночевать в чей-то чужой гостеприимный дворец. Также увезены были из опасного дома, около которого соберутся завтра бомбометатели, его жена и двое детей.

Пока горели огни в чужом дворце и приветливые знакомые лица кланялись, улыбались и негодовали, сановник испытывал чувство приятной возбужденности — как будто ему уже дали или сейчас дадут большую и неожиданную награду. Но люди разъехались, огни погасили, и сквозь зеркальные стекла на потолок и стены лег кружевной и призрачный свет электрических фонарей; посторонний дому, с его картинами, статуями и тишиной, входившей с улицы, сам тихий и неопределенный, он будил тревожную мысль о тщете запоров, охраны и стен. И тогда ночью, в тишине и одиночестве чужой спальни, сановнику стало невыносимо страшно.

У него было что-то с почками, и при каждом сильном волнении наливались водою и опухали его лицо, ноги и руки, и от этого он становился как будто еще крупнее, еще толще и массивнее. И теперь, горою вздутого мяса возвышаясь над придавленными пружинами кровати, он с тоскою больного человека чувствовал свое опухшее,

словно чужое лицо и неотвязно думал о той жестокой судьбе, какую готовили ему люди. Он вспомнил, один за другим, все недавние ужасные случаи, когда в людей его сановного и даже еще более высокого положения бросали бомбы, и бомбы рвали на клочки тело, разбрызгивали мозг по грязным кирпичным стенам, вышибали зубы из гнезд. И от этих воспоминаний собственное тучное больное тело, раскинувшееся на кровати, казалось уже чужим, уже испытывающим огненную силу взрыва; и чудилось, будто руки в плече отделяются от туловища, зубы выпадают, мозг разделяется на частицы, ноги немеют и лежат покорно, пальцами вверх, как у покойника. Он усиленно шевелился, дышал громко, кашлял, чтобы ничем не походить на покойника, окружал себя живым шумом звенящих пружин, шелестящего одеяла; и чтобы показать, что он совершенно жив, ни капельки не умер и далек от смерти, как всякий другой человек, — громко и отрывисто басил в тишине и одиночестве спальни:

— Молодцы! Молодцы! Молодцы!

Это он хвалил сыщиков, полицию и солдат, всех тех, кто охраняет его жизнь и так своевременно, так ловко предупредили убийство. Но шевелясь,

но хваля, но усмехаясь насильственной кривой улыбкой, чтобы выразить свою насмешку над глупыми террористами-неудачниками, он все еще не верил в свое спасение, в то, что жизнь вдруг, сразу, не уйдет от него. Смерть, которую замыслили для него люди и которая была только в их мыслях, в их намерениях, как будто уже стояла тут, и будет стоять, и не уйдет, пока тех не схватят, не отнимут у них бомб и не посадят их в крепкую тюрьму. Вон в том углу она стоит и не уходит — не может уйти, как послушный солдат, чьей-то волею и приказом поставленный на караул.

— В час дня, ваше превосходительство! — звучала сказанная фраза, переливалась на все голоса: то весело-насмешливая, то сердитая, то упрямая и тупая. Словно поставили в спальню сотню заведенных граммофонов, и все они, один за другим, с идиотской старательностью машины выкрикивали приказанные им слова:

— В час дня, ваше превосходительство.

И этот завтрашний «час дня», который еще так недавно ничем не отличался от других, был только спокойным движением стрелки по циферблату золотых часов, вдруг приобрел зловещую убедительность, выскочил из циферблата, стал

жить отдельно, вытянулся, как огромный черный столб, всю жизнь разрезающий надвое. Как будто ни до него, ни после него не существовало никаких других часов, а он только один, наглый и самомнительный, имел право на какое-то особенное существование.

— Ну? Чего тебе надо? — сквозь зубы, сердито спросил министр.

Орали граммофоны:

— В час дня, ваше превосходительство! — И черный столб ухмылялся и кланялся.

Скрипнув зубами, министр приподнялся на постели и сел, опершись лицом на ладони, — положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь.

И с ужасающей яркостью, зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями, он представил себе, как завтра утром он вставал бы, ничего не зная, потом пил бы кофе, ничего не зная, потом одевался бы в прихожей. И ни он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это: и шуба, и его тело, и кофе, которое в нем, будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь… И

это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь, сам, своими руками открывает страшную дверь, — открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают.

— Ого! — вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони.

И, глядя в темноту, далеко перед собою, остановившимся, напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую незнакомую спальню, нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель со свалившимся на пол одеялом говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе.

В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами, сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка. Точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали, — и трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело, такое обыкно-

венное, простое человеческое тело, должно было погибнуть страшно, в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подпер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно, в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в лепной незнакомый потолок.

Так вот в чем дело! Так вот почему он так струсил и так взволновался! Так вот почему она стоит в углу и не уходит и не может уйти!

— Дураки! — сказал он презрительно и веско.

— Дураки! — повторил он громче и слегка повернул голову к двери, чтобы слышали те, к кому это относится. А относилось это к тем, кого недавно он называл молодцами и кто в излишке усердия подробно рассказал ему о готовящемся покушении.

«Ну, конечно, — думал он глубоко, внезапно окрепшею и плавною мыслью, — ведь это теперь, когда мне рассказали, я знаю и мне страшно, а ведь тогда бы я ничего не знал и спокойно пил бы кофе. Ну, а потом, конечно, эта смерть, — но разве я так боюсь смерти? Вот у меня болят почки, и умру же я когда-нибудь, а мне не страшно, потому что ничего не знаю. А эти дураки сказали: в час дня, ваше превосходительство. И думали, дураки,

что я буду радоваться, а вместо того она стала в углу и не уходит. Не уходит, потому что это моя мысль. И не смерть страшна, а знание ее; и было бы совсем невозможно жить, если бы человек мог вполне точно и определенно знать день и час, когда умрет. А эти дураки предупреждают: «В час дня, ваше превосходительство!»

Стало так легко и приятно, словно кто-то сказал ему, что он совсем бессмертен и не умрет никогда. И, снова чувствуя себя сильным и умным среди этого стада дураков, что так бессмысленно и нагло врываются в тайну грядущего, он задумался о блаженстве неведения тяжелыми мыслями старого, больного, много испытавшего человека. Ничему живому, ни человеку, ни зверю, не дано знать дня и часа своей смерти. Вот он был болен недавно, и врачи сказали ему, что умрет, что нужно сделать последние распоряжения, — а он не поверил им и действительно остался жив. А в молодости было так: запутался он в жизни и решил покончить с собой; и револьвер приготовил, и письма написал, и даже назначил час дня самоубийства, — а перед самым концом вдруг передумал. И всегда, в самое последнее мгновение может что-нибудь измениться, может явиться неожиданная случайность, и оттого никто не

может про себя сказать, когда он умрет.

«В час дня, ваше превосходительство», — сказали ему эти любезные ослы, и, хотя сказали только потому, что смерть предотвращена, одно уже знание ее возможного часа наполнило его ужасом. Вполне допустимо, что когда-нибудь его и убьют, но завтра этого не будет — завтра этого не будет, — и он может спать спокойно, как бессмертный. Дураки, они не знали, какой великий закон они свернули с места, какую дыру открыли, когда сказали с этой своею идиотской любезностью: «В час дня, ваше превосходительство».

— Нет, не в час дня, ваше превосходительство, а неизвестно когда. Неизвестно когда. Что?

— Ничего, — ответила тишина. — Ничего.

— Нет, ты говоришь что-то.

— Ничего, пустяки. Я говорю: завтра, в час дня.

И с внезапной острой тоскою в сердце он понял, что не будет ему ни сна, ни покоя, ни радости, пока не пройдет этот проклятый, черный, выхваченный из циферблата час. Только тень знания о том, о чем не должно знать ни одно живое существо, стояла там в углу, и ее было достаточно, чтобы затмить свет и нагнать на человека непроглядную тьму ужаса. Потревоженный однажды страх смерти расплывался по телу, внедрялся

в кости, тянул бледную голову из каждой поры тела.

Уже не завтрашних убийц боялся он, — они исчезли, забылись, смешались с толпою враждебных лиц и явлений, окружающих его человеческую жизнь, — а чего-то внезапного и неизбежного: апоплексического удара, разрыва сердца, какой-то тоненькой глупой аорты, которая вдруг не выдержит напора крови и лопнет, как туго натянутая перчатка на пухлых пальцах.

И страшною казалась короткая, толстая шея, и невыносимо было смотреть на заплывшие короткие пальцы, чувствовать, как они коротки, как они полны смертельною влагой. И если раньше, в темноте, он должен был шевелиться, чтобы не походить на мертвеца, то теперь, в этом ярком, холодно-враждебном, страшном свете, казалось ужасным, невозможным пошевелиться, чтобы достать папиросу — позвонить кого-нибудь. Нервы напрягались. И каждый нерв казался похожим на вздыбившуюся выгнутую проволоку, на вершине которой маленькая головка с безумно вытаращенными от ужаса глазами, судорожно разинутым, задохнувшимся, безмолвным ртом. Нечем дышать.

И вдруг в темноте, среди пыли и паутины, где-

то под потолком ожил электрический звонок. Маленький металлический язычок судорожно, в ужасе, бился о край звенящей чашки, замолкал — и снова трепетал в непрерывном ужасе и звоне. Это звонил из своей комнаты его превосходительство.

Забегали люди. Там и здесь, в люстрах и по стене, вспыхнули отдельные лампочки, — их мало было для света, но достаточно для того, чтобы появились тени. Всюду появились они: встали в углах, протянулись по потолку; трепетно цепляясь за каждое возвышение, прилегли к стенам; и трудно было понять, где находились раньше все эти бесчисленные уродливые, молчаливые тени, безгласные души безгласных вещей.

Что-то громко говорил густой дрожащий голос. Потом требовали доктора по телефону: сановнику было дурно. Вызвали и жену его превосходительства.

2. К смертной казни через повешение

Вышло так, как загадала полиция. Четверых террористов, трех мужчин и одну женщину, вооруженных бомбами, адскими машинами и револьверами, схватили у самого подъезда, пятую — нашли и арестовали на конспиративной квартире, хозяйкою которой она состояла. Захватили при этом много динамиту, полуснаряженных бомб и оружия. Все арестованные были очень молоды: старшему из мужчин было двадцать восемь лет, младшей из женщин всего девятнадцать. Судили их в той же крепости, куда заключили после ареста, судили быстро и глухо, как делалось в то беспощадное время.

На суде все пятеро были спокойны, но очень серьезны и очень задумчивы: так велико было их презрение к судьям, что никому не хотелось лишней улыбкой или притворным выражением веселья подчеркнуть свою смелость. Ровно настолько были они спокойны, сколько нужно для того, чтобы оградить свою душу и великий предсмертный мрак ее от чужого, злого и враждебного взгляда. Иногда отказывались отвечать на вопросы, иногда отвечали — коротко, просто и

точно, словно не судьям, а статистикам отвечали они для заполнения каких-то особенных таблиц. Трое, одна женщина и двое мужчин, назвали свои настоящие имена, двое отказались назвать их и так и остались для судей неизвестными. И ко всему, происходившему на суде, обнаруживали они то смягченное, сквозь дымку, любопытство, которое свойственно людям или очень тяжело больным, или же захваченным одною огромною, всепоглощающей мыслью. Быстро взглядывали, ловили на лету какое-нибудь слово, более интересное, чем другие, — и снова продолжали думать, с того же места, на каком остановилась мысль.

Первым от судей помещался один из назвавших себя — Сергей Головин, сын отставного полковника, сам бывший офицер. Это был совсем еще молодой, белокурый, широкоплечий юноша, такой здоровый, что ни тюрьма, ни ожидание неминуемой смерти не могли стереть краски с его щек и выражения молодой, счастливой наивности с его голубых глаз. Все время он энергично пощипывал лохматую светлую бородку, к которой еще не привык, и неотступно, щурясь и мигая, глядел в окно.

Это происходило в конце зимы, когда среди

снежных бурь и тусклых морозных дней недалекая весна посылала, как предтечу, ясный, теплый солнечный день или даже один только час, но такой весенний, такой жадно молодой и сверкающий, что воробьи на улице сходили с ума от радости и точно пьянели люди. И теперь, в верхнее запыленное, с прошлого лета не протиравшееся окно было видно очень странное и красивое небо: на первый взгляд оно казалось молочно-серым, дымчатым, а когда смотреть дольше — в нем начинала проступать синева, оно начинало голубеть все глубже, все ярче, все беспредельнее. И то, что оно не открывалось все сразу, а целомудренно таилось в дымке прозрачных облаков, делало его милым, как девушку, которую любишь; и Сергей Головин глядел в небо, пощипывал бородку, щурил то один, то другой глаз с длинными пушистыми ресницами и что-то усиленно соображал. Один раз он даже быстро зашевелил пальцами и наивно сморщился от какой-то радости, — но взглянул кругом и погас, как искра, на которую наступили ногою. И почти мгновенно сквозь краску щек, почти без перехода в бледность, проступила землистая, мертвенная синева; и пушистый волос, с болью выдираясь из гнезда, сжался, как в тисках, в побелевших на

кончике пальцах. Но радость жизни и весны была сильнее — и через несколько минут прежнее, молодое, наивное лицо тянулось к весеннему небу.

Туда же, в небо, смотрела молодая бледная девушка, неизвестная, по прозвищу Муся. Она была моложе Головина, но казалась старше в своей строгости, в черноте своих прямых и гордых глаз. Только очень тонкая, нежная шея да такие же тонкие девичьи руки говорили о ее возрасте, да еще то неуловимое, что есть сама молодость и что звучало так ясно в ее голосе, чистом, гармоничном, настроенном безупречно, как дорогой инструмент, в каждом простом слове, восклицании, открывающем его музыкальное содержание. Была она очень бледна, но не мертвенной бледностью, а той особенной горячей белизной, когда внутри человека как бы зажжен огромный, сильный огонь, и тело прозрачно светится, как тонкий севрский фарфор. Сидела она почти не шевелясь и только изредка незаметным движением пальцев ощупывала углубленную полоску на среднем пальце правой руки, след какого-то недавно снятого кольца. И на небо она смотрела без ласки и радостных воспоминаний, только потому, что во всей грязной казенной зале этот голубой кусочек неба был самым красивым,

самым чистым и правдивым — ничего не выпытывал у ее глаз.

Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели.

Также не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный, по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смотрел он неподвижно вниз на дощатый грязный пол, и нельзя было понять: спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого; черты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый настолько, что напоминал лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них, он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какою давал он короткие и точные ответы, казалась опасною в его устах, в его полупоклоне; и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем, — так чуждо было платье человеку. И

хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его и обращались к нему с некоторой почтительностью, так же кратко и деловито.

Следующий за ним, Василий Каширин, весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судьям. С самого утра, как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащенного биения сердца; на лбу все время капельками выступал пот, так же потны и холодны были руки, и липла к телу, связывая его движения, холодная потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть твердым и отчетливым, глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел, голоса приносились к нему как из тумана, и в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия — отвечать твердо, отвечать громко. Но, ответив, он тотчас забывал как и вопрос, так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По паспорту

же ему было всего двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:

— Ничего.

Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать — без слов, животным отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо:

— Ничего, Вася. Скоро кончится.

И, всех обнимая материнским заботливым оком, изнывала в тревоге пятая террористка, Таня Ковальчук. У нее никогда не было детей, она была еще очень молода и краснощека, как Сергей Головин, но казалась матерью всем этим людям: так заботливы, так бесконечно любовны были ее взгляды, улыбка, страхи. На суд она не обращала никакого внимания, как на нечто совсем постороннее, и только слушала, как отвечают другие: не дрожит ли голос, не боится ли, не дать ли воды.

На Васю она не могла смотреть от тоски и только тихонько ломала свои пухлые пальцы; на Мусю и Вернера смотрела с гордостью и почтением и лицо делала серьезное и сосредоточенное, а Сергею Головину все старалась передать свою

улыбку.

«Милый, на небо смотрит. Посмотри, посмотри, голубчик, — думала она про Головина. — А Вася? Что же это, боже мой, боже мой… Что же мне с ним делать? Сказать что-нибудь — еще хуже сделаешь: вдруг заплачет?»

И, как тихий пруд на заре, отражающий каждое бегущее облако, отражала она на пухлом, милом, добром лице своем всякое быстрое чувство, всякую мысль тех четверых. О том, что ее также судят и также повесят, она не думала совсем — была глубоко равнодушна. Это у нее на квартире открыли склад бомб и динамита; и, как ни странно, — это она встретила полицию выстрелами и ранила одного сыщика в голову.

Суд кончился часов в восемь, когда уже стемнело. Постепенно гасло перед глазами Муси и Сергея Головина синеющее небо, но не порозовело оно, не улыбнулось тихо, как в летние вечера, а замутилось, посерело, вдруг стало холодным и зимним. Головин вздохнул, потянулся, еще раза два взглянул в окно, но там стояла уже холодная ночная тьма; и, продолжая пощипывать бородку, он начал с детским любопытством разглядывать судей, солдат с ружьями, улыбнулся Тане Ковальчук. Муся же, когда небо погасло, спокойно,

не опуская глаз на землю, перевела их в угол, где тихо колыхалась паутинка под незаметным напором духового отопления; и так оставалась до объявления приговора.

После приговора, простившись с защитниками во фраках и избегая их беспомощно растерянных, жалобных и виноватых глаз, обвиненные столкнулись на минуту в дверях и обменялись короткими фразами.

— Ничего, Вася. Кончится скоро все, — сказал Вернер.

— Да я, брат, ничего, — громко, спокойно и даже как будто весело ответил Каширин.

И действительно, лицо его слегка порозовело и уже не казалось лицом разлагающегося трупа.

— Чтобы черт их побрал, ведь повесили-таки, — наивно обругался Головин.

— Так и нужно было ожидать, — ответил Вернер спокойно.

— Завтра будет объявлен приговор в окончательной форме, и нас посадят вместе, — сказала Ковальчук, утешая. — До самой казни вместе будем сидеть.

Муся молчала. Потом решительно двинулась вперед.

3. Меня не надо вешать

За две недели перед тем, как судили террористов, тот же военно-окружной суд, но только в другом составе, судил и приговорил к смертной казни через повешение Ивана Янсона, крестьянина.

Этот Иван Янсон был батраком у зажиточного фермера и ничем особенным не отличался от других таких же работников-бобылей. Родом он был эстонец, из Везенберга, и постепенно, в течение нескольких лет, переходя из одной фермы в другую, придвинулся к самой столице. По-русски он говорил очень плохо, а так как хозяин его был русский, по фамилии Лазарев, и эстонцев поблизости не было, то почти все два года Янсон молчал. По-видимому, и вообще он не был склонен к разговорчивости; и молчал не только с людьми, но и с животными: молча поил лошадь, молча запрягал ее, медленно и лениво двигаясь вокруг нее маленькими, неуверенными шажками, а когда лошадь, недовольная молчанием, начинала капризничать и заигрывать, молча бил ее кнутовищем. Бил он ее жестоко, с холодной и злой настойчивостью, и если это слу-

чалось в то время, когда он находился в тяжелом состоянии похмелья, то доходил до неистовства. Тогда до самого дома доносился хлест кнута и испуганный, дробный, полный боли, стук копыт по дощатому полу сарая. За то, что Янсон бьет лошадь, хозяин бил его самого, но исправить не мог, и так и бросил.

Раз или два в месяц Янсон напивался, и происходило это обычно в те дни, когда он отвозил хозяина на большую железнодорожную станцию, где был буфет. Ссадив хозяина, он отъезжал на полверсты от станции и там, завязив в снегу в стороне от дороги сани и лошадь, пережидал отхода поезда. Сани стояли боком, почти лежали, лошадь по пузо уходила в сугроб раскоряченными ногами и изредка тянула морду вниз, чтобы лизнуть мягкого пушистого снега, а Янсон полулежал в неудобной позе на санях и как будто дремал. Развязанные наушники его облезлой меховой шапки бессильно свисали вниз, как уши у легавой собаки, и было влажно под маленьким красноватым носиком.

Потом Янсон возвращался на станцию и быстро напивался.

Назад на ферму, все десять верст, он несся вскачь. Избитая, доведенная до ужаса лошаденка

скакала всеми четырьмя ногами как угорелая, сани раскатывались, наклонялись, бились о столбы, а Янсон, опустив вожжи и каждую минуту почти вылетая из саней, не то пел, не то выкрикивал что-то по-эстонски отрывистыми, слепыми фразами. А чаще даже и не пел, а молча, крепко стиснув зубы от наплыва неведомой ярости, страданий и восторга, несся вперед и был как слепой: не видел встречных, не окрикивал, не замедлял бешеного хода ни на заворотах, ни на спусках. Как он не задавил кого-нибудь, как сам не разбился насмерть в одну из таких диких поездок — оставалось непонятным.

Его уже давно следовало прогнать, как прогоняли его и с других мест, но он был дешев и другие работники бывали не лучше, и так оставался он два года. Событий в жизни Янсона не было никаких. Однажды он получил письмо по-эстонски, но так как сам был неграмотен, а другие по-эстонски не знали, то так письмо и осталось непрочитанным; и с каким-то диким, изуверским равнодушием, точно не понимая, что письмо несет вести с родины, Янсон бросил его в навоз. Попробовал еще Янсон поухаживать за стряпухой, томясь, видимо, по женщине, но успеха не имел и был грубо отвергнут и осмеян: был

он маленького роста, щуплый, лицо имел веснушчатое, дряблое и сонные глазки бутылочного, грязного цвета. И неудачу свою Янсон встретил равнодушно и больше к стряпухе не приставал.

Но, мало говоря, Янсон все время к чему-то прислушивался. Слушал он и унылое снежное поле, с бугорками застывшего навоза, похожего на ряд маленьких, занесенных снегом могил, и синие нежные дали, и телеграфные гудящие столбы, и разговоры людей. Что говорило ему поле и телеграфные столбы, знал только он один, а разговоры людей были тревожны, полны слухами об убийствах, о грабежах, о поджогах. И было слышно однажды ночью, как в соседнем поселке жидко и беспомощно тренькал на кирке маленький колокол, похожий на колокольчик, и трещало пламя пожара: то какие-то приезжие ограбили богатую ферму, хозяина и жену его убили, а дом подожгли.

И на ихней ферме жили тревожно: не только ночью, но и днем спускали собак, и хозяин ночью клал возле себя ружье. Такое же ружье, но только одноствольное и старое, он хотел дать Янсону, но тот повертел ружье в руках, покачал головою и почему-то отказался. Хозяин не понял причины отказа и обругал Янсона, а причина была в том,

что Янсон больше верил в силу своего финского ножа, чем этой старой ржавой штуке.

— Она меня самого убьет, — сказал Янсон, сонно смотря на хозяина стеклянными глазками.

И хозяин в отчаянии махнул рукою:

— Ну и дурак же ты, Иван. Вот тут и поживи с такими работниками.

И вот этот самый Иван Янсон, не доверявший ружью, в один зимний вечер, когда другого работника услали на станцию, совершил весьма сложное покушение на вооруженный грабеж, на убийство и на изнасилование женщины. Сделал он это как-то удивительно просто: запер стряпуху в кухне, лениво, с видом человека, которому смертельно хочется спать, подошел сзади к хозяину и быстро, раз за разом, ударил его в спину ножом. Хозяин в беспамятстве свалился, хозяйка заметалась и завопила, а Янсон, оскалив зубы, размахивая ножом, начал разворачивать сундуки, комоды. Достал деньги, а потом точно впервые увидел хозяйку и неожиданно для себя самого кинулся к ней, чтобы изнасиловать. Но так как нож при этом он упустил, то хозяйка оказалась сильнее и не только не дала себя изнасиловать, а чуть не удушила его. А тут заворочался на полу хозяин, загремела ухватом кухарка, вышибая

кухонную дверь, и Янсон убежал в поле. Схватили его через час, когда он, сидя на корточках за углом сарая и зажигая одну за другою тухнущие спички, совершал покушение на поджог.

Через несколько дней хозяин умер от заражения крови, а Янсона, когда наступил его черед в ряду других грабителей и убийц, судили и приговорили к смертной казни. На суде он был такой же, как всегда: маленький, щуплый, веснушчатый, с стеклянными сонными глазками. Он как будто не совсем понимал значение происходящего и по виду был совершенно равнодушен: моргал белыми ресницами, тупо, без любопытства, оглядывал незнакомую важную залу и ковырял в носу жестким, заскорузлым, негнущимся пальцем. Только те, кто видал его по воскресеньям в кирке, могли бы догадаться, что он несколько принарядился: надел на шею вязаный грязно-красный шарф и кое-где примочил волосы на голове; и там, где волосы были примочены, они темнели и лежали гладко, а на другой стороне торчали светлыми и редкими вихрами — как соломинки на тощей, градом побитой ниве.

Когда был объявлен приговор: к смертной казни через повешение, Янсон вдруг заволновался. Он густо покраснел и начал завязывать и

развязывать шарф, точно он душил его. Потом бестолково замахал руками и сказал, обращаясь к тому судье, который не читал приговора, и показывая пальцем на того, который читал:

— Она сказала, что меня надо вешать.

— Какая такая она? — густо, басом, спросил председатель, читавший приговор.

Все улыбнулись, пряча улыбки под усами и в бумагах, а Янсон ткнул указательным пальцем на председателя и сердито, исподлобья, ответил:

— Ты!

— Ну?

Янсон опять обратил глаза к молчащему, сдержанно улыбавшемуся судье, в котором чувствовал друга и человека, к приговору совершенно не причастного, и повторил:

— Она сказала, что меня надо вешать. Меня не надо вешать.

— Уведите обвиняемого.

Но Янсон успел еще раз убедительно и веско повторить:

— Меня не надо вешать.

Он так был нелеп с своим маленьким, сердитым лицом, которому напрасно пытался придать важность, с своим протянутым пальцем, что даже конвойный солдат, нарушая правила, сказал

ему вполголоса, уводя из залы:

— Ну и дурак же ты, парень.

— Меня не надо вешать, — упрямо повторил Янсон.

— Вздернут за мое почтение, дрыгнуть не успеешь.

— Ну-ну, помалкивай! — сердито окрикнул другой конвойный. Но не утерпел сам и добавил: — Тоже грабитель! За что, дурак, душу человеческую загубил? Вот теперь и повиси.

— Может, помилуют? — сказал первый солдат, которому жалко стало Янсона.

— Как же! Таких миловать... Ну, буде, поговорили.

Но Янсон уже замолчал. И опять его посадили в ту камеру, в которой он уже сидел месяц и к которой успел привыкнуть, как привыкал ко всему: к побоям, к водке, к унылому снежному полю, усеянному круглыми бугорками, как кладбище. И теперь ему даже весело стало, когда он увидел свою кровать, свое окно с решеткой, и ему дали поесть — с утра он ничего не ел. Неприятно было только то, что произошло на суде, но думать об этом он не мог, не умел. И смерти через повешение не представлял совсем.

Хотя Янсон и приговорен был к смертной казни,

но таких, как он, было много, и важным преступником его в тюрьме не считали. Поэтому с ним разговаривали без опаски и без уважения, как со всяким другим, кому не предстоит смерть. Точно не считали его смерти за смерть. Надзиратель, узнав о приговоре, сказал ему наставительно:

— Что, брат? Вот и повесили!

— А когда меня будут вешать? — недоверчиво спросил Янсон.

Надзиратель задумался.

— Ну, это, брат, придется тебе погодить. Пока партию не собьют. А то для одного, да еще для такого, и стараться не стоит. Тут нужен подъем.

— Ну, а когда? — настойчиво спрашивал Янсон.

Ему нисколько не было обидно, что одного его даже вешать не стоит, и он этому не поверил, счел за предлог, чтобы отсрочить казнь, а потом и совсем отменить ее. И радостно стало: смутный и страшный момент, о котором нельзя думать, отодвигался куда-то вдаль, становился сказочным и невероятным, как всякая смерть.

— Когда, когда! — рассердился надзиратель, старик тупой и угрюмый. — Это тебе не собаку вешать: отвел за сарай, раз, и готово. А ты так бы и хотел, дурак!

— А я не хочу! — вдруг весело сморщился Янсон. — Это она сказала, что меня надо вешать, а я не хочу!

И, может быть, в первый раз в своей жизни он засмеялся: скрипучим, нелепым, но страшно веселым и радостным смехом. Как будто гусь закричал: га-га-га! Надзиратель с удивлением посмотрел на него, потом нахмурился строго: эта нелепая веселость человека, которого должны казнить, оскорбляла тюрьму и самую казнь и делала их чем-то очень странным. И вдруг на одно мгновение, на самое коротенькое мгновение, старому надзирателю, всю жизнь проведшему в тюрьме, ее правила признавшему как бы за законы природы, показалась и она, и вся жизнь чем-то вроде сумасшедшего дома, причем он, надзиратель, и есть самый главный сумасшедший.

— Тьфу, чтоб тебя! — отплюнулся он. — Чего зубы скалишь, тут тебе не кабак!

— А я не хочу — га-га-га! — смеялся Янсон.

— Сатана! — сказал надзиратель, чувствуя потребность перекреститься.

Менее всего был похож на сатану этот человек с маленьким, дряблым личиком, но было в его гусином гоготанье что-то такое, что уничтожало святость и крепость тюрьмы. Посмейся он еще

немного — и вот развалятся гнилостно стены, и упадут размокшие решетки, и надзиратель сам выведет арестантов за ворота: пожалуйте, господа, гуляйте себе по городу, — а может, кто и в деревню хочет? Сатана!

Но Янсон уже перестал смеяться и только щурился лукаво.

— Ну то-то! — сказал надзиратель с неопределенной угрозой и ушел, оглядываясь.

Весь этот вечер Янсон был спокоен и даже весел. Он повторял про себя сказанную фразу: меня не надо вешать, и она была такою убедительною, мудрою, неопровержимой, что ни о чем не стоило беспокоиться. О своем преступлении он давно забыл и только иногда жалел, что не удалось изнасиловать хозяйку. А скоро забыл и об этом.

Каждое утро Янсон спрашивал, когда его будут вешать, и каждое утро надзиратель сердито отвечал:

— Успеешь еще, сатана. Посиди! — и уходил поскорее, пока не успел Янсон рассмеяться.

И от этих однообразно повторяющихся слов и от того, что каждый день начинался, проходил и кончался, как самый обыкновенный день, Янсон бесповоротно убедился, что никакой казни не будет. Очень быстро он стал забывать о суде и це-

лыми днями валялся на койке, смутно и радостно грезя об унылых снежных полях с их бугорками, о станционном буфете, о чем-то еще более далеком и светлом. В тюрьме его хорошо кормили, и как-то очень быстро, за несколько дней, он пополнел и стал немного важничать.

«Теперь она меня и так бы полюбила, — подумал он как-то про хозяйку. — Теперь я толстый, не хуже хозяина».

И только выпить водки очень хотелось — выпить и быстро-быстро прокатиться на лошадке.

Когда террористов арестовали, весть об этом дошла до тюрьмы: и на обычный вопрос Янсона надзиратель вдруг неожиданно и дико ответил:

— Теперь скоро.

Глядел на него спокойно и важно говорил:

— Теперь скоро. Думаю так, что через недельку.

Янсон побледнел и, точно совсем засыпая, так мутен был взгляд его стеклянных глаз, спросил:

— Ты шутишь?

— То дождаться не мог, а то шутишь. У нас шуток не полагается. Это вы шутить любите, а у нас шуток не полагается, — сказал надзиратель с достоинством и ушел.

Уже к вечеру этого дня Янсон похудел. Его

растянувшаяся, на время разгладившаяся кожа вдруг собралась в множество маленьких морщинок, кое-где даже обвисла как будто. Глаза сделались совсем сонными, и все движения стали так медленны и вялы, словно каждый поворот головы, движение пальцев, шаг ногою был таким сложным и громоздким предприятием, которое раньше нужно очень долго обдумать. Ночью он лег на койку, но глаз не закрыл, и так, сонные, до утра они оставались открыты.

— Ага! — сказал надзиратель с удовольствием, увидев его на следующий день. — Тут тебе, голубчик, не кабак.

С чувством приятного удовлетворения, как ученый, опыт которого еще раз удался, он с ног до головы, внимательно и подробно оглядел осужденного; теперь все пойдет как следует. Сатана посрамлен, восстановлена святость тюрьмы и казни, — и снисходительно, даже жалея искренно, старик осведомился:

— Видеться с кем будешь или нет?

— Зачем видеться?

— Ну, проститься. Мать, например, или брат.

— Меня не надо вешать, — тихо сказал Янсон и искоса поглядел на надзирателя. — Я не хочу.

Надзиратель посмотрел — и молча махнул

рукой.

К вечеру Янсон несколько успокоился. День был такой обыкновенный, так обыкновенно светило облачное зимнее небо, так обыкновенно звучали в коридоре шаги и чей-то деловой разговор, так обыкновенно, и естественно, и обычно пахли щи из кислой капусты, что он опять перестал верить в казнь. Но к ночи стало страшно. Прежде Янсон ощущал ночь просто как темноту, как особенное темное время, когда нужно спать, но теперь он почувствовал ее таинственную и грозную сущность. Чтобы не верить в смерть, нужно видеть и слышать вокруг себя обыкновенное: шаги, голоса, свет, щи из кислой капусты, а теперь все было необыкновенное, и эта тишина, и этот мрак и сами по себе были уже как будто смертью.

И чем дальше тянулась ночь, тем все страшнее становилось. С наивностью дикаря или ребенка, считающих возможным все, Янсону хотелось крикнуть солнцу: свети! И он просил, он умолял, чтобы солнце светило, но ночь неуклонно влекла над землею свои черные часы, и не было силы, которая могла бы остановить ее течение. И эта невозможность, впервые так ясно представшая слабому мозгу Янсона, наполнила его ужасом: еще не смея почувствовать это ясно, он уже

сознал неизбежность близкой смерти и мертвеющей ногою ступил на первую ступень эшафота.

День опять успокоил его, и ночь опять запугала, и так было до той ночи, когда он и сознал и почувствовал, что смерть неизбежна и наступит через три дня, на рассвете, когда будет вставать солнце.

Он никогда не думал о том, что такое смерть, и образа для него смерть не имела, — но теперь он почувствовал ясно, увидел, ощутил, что она вошла в камеру и ищет его, шаря руками. И, спасаясь, он начал бегать по камере.

Но камера была такая маленькая, что, казалось, не острые, а тупые углы в ней, и все толкают его на середину. И не за что спрятаться. И дверь заперта. И светло. Несколько раз молча ударился туловищем о стены, раз стукнулся о дверь — глухо и пусто. Наткнулся на что-то и упал лицом вниз, и тут почувствовал, что она его хватает. И, лежа на животе, прилипая к полу, прячась лицом в его темный, грязный асфальт, Янсон завопил от ужаса. Лежал и кричал во весь голос, пока не пришли. И когда уже подняли с пола, и посадили на койку, и вылили на голову холодной воды, Янсон все еще не решался открыть крепко зажмуренных глаз. Приоткроет один, увидит светлый

пустой угол или чей-то сапог в пустоте и опять начнет кричать.

Но холодная вода начала действовать. Помогло и то, что дежурный надзиратель, все тот же старик, несколько раз лекарственно ударил Янсона по голове. И это ощущение жизни действительно прогнало смерть, и Янсон открыл глаза, и остальную часть ночи, с помутившимся мозгом, крепко проспал. Лежал на спине, с открытым ртом, и громко, заливисто храпел; и между неплотно закрытых век белел плоский и мертвый глаз без зрачка.

А дальше все в мире, и день, и ночь, и шаги, и голоса, и щи из кислой капусты стали для него сплошным ужасом, повергли его в состояние дикого, ни с чем не сравнимого изумления. Его слабая мысль не могла связать этих двух представлений, так чудовищно противоречащих одно другому: обычно светлого дня, запаха и вкуса капусты — и того, что через два дня, через день он должен умереть. Он ничего не думал, он даже не считал часов, а просто стоял в немом ужасе перед этим противоречием, разорвавшим его мозг на две части; и стал он ровно бледный, ни белее, ни краснее, и по виду казался спокойным. Только ничего не ел и совсем перестал спать: или

всю ночь, поджав пугливо под себя ноги, сидел на табурете, или, тихонько, крадучись и сонно озираясь, прогуливался по камере. Рот у него все время был полураскрыт, как бы от непрестанного величайшего удивления; и, прежде чем взять в руки какой-нибудь самый обыкновенный предмет, он долго и тупо рассматривал его и брал недоверчиво.

И когда он стал таким, и надзиратели и солдат, наблюдавший за ним в окошечко, перестали обращать на него внимание. Это было обычное для осужденных состояние, сходное, по мнению надзирателя, никогда его не испытавшего, с тем, какое бывает у убиваемой скотины, когда ее оглушат ударом обуха по лбу.

— Теперь он оглох, теперь он до самой смерти ничего не почувствует, — говорил надзиратель, вглядываясь в него опытными глазами. — Иван, слышишь? А, Иван?

— Меня не надо вешать, — тускло отозвался Янсон, и снова нижняя челюсть его отвисла.

— А ты бы не убивал, тебя бы и не повесили, — наставительно сказал старший надзиратель, еще молодой, но очень важный мужчина в орденах. — А то убить убил, а вешаться не хочешь.

— Захотел человека на дармовщинку убить.

Глуп, глуп, а хитер.

— Я не хочу, — сказал Янсон.

— Что ж, милый, не хоти, дело твое, — равнодушно сказал старший. — Лучше бы, чем глупости говорить, имуществом распорядился — все что-нибудь да есть.

— Ничего у него нету. Одна рубаха да порты. Да вот еще шапка меховая — франт!

Так прошло время до четверга. А в четверг, в двенадцать часов ночи, в камеру к Янсону вошло много народу, и какой-то господин с погонами сказал:

— Ну-с, собирайтесь. Надо ехать.

Янсон, двигаясь все так же медленно и вяло, надел на себя все, что у него было, и повязал грязно-красный шарф. Глядя, как он одевается, господин в погонах, куривший папироску, сказал кому-то:

— А какой сегодня теплый день. Совсем весна.

Глазки у Янсона слипались, он совсем засыпал и ворочался так медленно и туго, что надзиратель прикрикнул:

— Ну, ну, живее. Заснул!

Вдруг Янсон остановился.

— Я не хочу, — сказал он вяло.

Его взяли под руки и повели, и он покорно

зашагал, поднимая плечи. На дворе его сразу обвеяло весенним влажным воздухом, и под носиком стало мокро; несмотря на ночь, оттепель стала еще сильнее, и откуда-то звонко падали на камень частые веселые капли. И в ожидании, пока в черную без фонарей карету влезали, стуча шашками и сгибаясь, жандармы, Янсон лениво водил пальцем под мокрым носом и поправлял плохо завязанный шарф.

4. Мы, орловские

Тем же присутствием военно-окружного суда, которое судило Янсона, был приговорен к смертной казни через повешение крестьянин Орловской губернии, Елецкого уезда, Михаил Голубец, по кличке Мишка Цыганок, он же Татарин. Последним преступлением его, установленным точно, было убийство трех человек и вооруженное ограбление; а дальше уходило в загадочную глубину его темное прошлое. Были смутные намеки на участие его в целом ряде других грабежей и убийств, чувствовались позади его кровь и темный пьяный разгул. С полной откровенностью, совершенно искренно, он называл себя разбойником и с иронией относился к тем, которые по-модному величали себя «экспроприаторами». О последнем преступлении, где запирательство не вело ни к чему, он рассказывал подробно и охотно, на вопросы же о прошлом только скалил зубы и посвистывал:

— Ищи ветра в поле!

Когда ж очень приставали с расспросами, Цыганок принимал серьезный и достойный вид.

— Мы все, орловские, проломленные головы, —

говорил он степенно и рассудительно. — Орел да Кромы — первые воры. Карачев да Ливны — всем ворам дивны. А Елец — так тот всем ворам отец. Что ж тут толковать!

Цыганком его прозвали за внешность и воровские ухватки. Был он до странности черноволос, худощав, с пятнами желтого пригара на острых татарских скулах; как-то по-лошадиному выворачивал белки глаз и вечно куда-то торопился. Взгляд у него был короткий, но до жуткости прямой и полный любопытства, и вещь, на которую он коротко взглянул, точно теряла что-то, отдавала ему часть себя и становилась другою. Папиросу, на которую он взглянул, так же неприятно и трудно было взять, как будто она уже побывала в чужом рту. Какой-то вечный неугомон сидел в нем и то скручивал его, как жгут, то разбрасывал его широким снопом извивающихся искр. И воду он пил чуть ли не ведрами, как лошадь.

На все вопросы на суде он, вскакивая быстро, отвечал коротко, твердо и даже как будто с удовольствием:

— Верно!

Иногда подчеркивал:

— Вер-р-но!

И совершенно неожиданно, когда речь шла о

другом, вскочил и попросил председателя:

— Дозвольте засвистать!

— Это зачем? — удивился тот.

— А как они показывают, что я давал знак товарищам, то вот. Очень интересно.

Слегка недоумевая, председатель согласился. Цыганок быстро вложил в рот четыре пальца, по два от каждой руки, свирепо выкатил глаза — и мертвый воздух судебной залы прорезал настоящий, дикий, разбойничий посвист, от которого прядают и садятся на задние ноги оглушенные лошади и бледнеет невольно человеческое лицо. И смертельная тоска того, кого убивают, и дикая радость убийцы, и грозное предостережение, и зов, и тьма осенней ненастной ночи, и одиночество — все было в этом пронзительном и не человеческом и не зверином вопле.

Председатель что-то закричал, потом замахал на Цыганка рукою, и тот послушно смолк. И, как артист, победоносно исполнивший трудную, но всегда успешную арию, сел, вытер о халат мокрые пальцы и самодовольно оглядел присутствующих.

— Вот разбойник! — сказал один из судей, потирая ухо.

Но другой, с широкой русской бородою и та-

тарскими, как у Цыганка, глазами, мечтательно поглядел куда-то поверх Цыганка, улыбнулся и возразил:

— А ведь действительно интересно.

И с спокойным сердцем, без жалости и без малейшего угрызения совести судьи вынесли Цыганку смертный приговор.

— Верно! — сказал Цыганок, когда приговор был прочитан. — Во чистом поле да перекладинка. Верно!

И, обратясь к конвойному, молодецки бросил:

— Ну, идем, что ли, кислая шерсть. Да ружье крепче держи — отыму!

Солдат сурово, с опаскою взглянул на него, переглянулся с товарищем и пощупал замок у ружья. Другой сделал так же. И всю дорогу до тюрьмы солдаты точно не шли, а летели по воздуху — так, поглощенные преступником, не чувствовали они ни земли под ногами, ни времени, ни самих себя.

До казни Мишке Цыганку, как и Янсону, пришлось провести в тюрьме семнадцать дней. И все семнадцать дней пролетели для него так быстро, как один — как одна неугасающая мысль о побеге, о воле и о жизни. Неугомон, владевший Цыганком и теперь сдавленный стенами, и ре-

шетками, и мертвым окном, в которое ничего не видно, обратил всю свою ярость внутрь и жег мысль Цыганка, как разбросанный по доскам уголь. Точно в пьяном угаре, роились, сшибались и путались яркие, но не законченные образы, неслись мимо в неудержимом ослепительном вихре, и все устремлялись к одному — к побегу, к воле, к жизни. То раздувая ноздри, как лошадь, Цыганок по целым часам нюхал воздух — ему чудилось, что пахнет коноплями и пожарным дымком, бесцветной и едкой гарью; то волчком крутился по камере, быстро ощупывая стены, постукивая пальцем, примеряясь, точа взглядом потолок, перепиливая решетки. Своею неугомонностью он измучил солдата, наблюдавшего за ним в глазок, и уже несколько раз, в отчаянии, солдат грозил стрелять; Цыганок грубо и насмешливо возражал, и только потому дело кончалось мирно, что препирательство скоро переходило в простую, мужицкую, неоскорбительную брань, при которой стрельба казалась нелепой и невозможной.

Ночи свои Цыганок спал крепко, почти не шевелясь, в неизменной, но живой неподвижности, как бездействующая временно пружина. Но, вскочив, тотчас принимался вертеться, соображать, ощупывать. Руки у него постоянно были сухие и

горячие, но сердце иногда вдруг холодело: точно в грудь клали кусок нетающего льду, от которого по всему телу разбегалась мелкая сухая дрожь. И без того темный, в эти минуты Цыганок чернел, принимал оттенок синеватого чугуна. И странная привычка у него появилась: точно объевшись чего-то чрезмерно и невыносимо сладкого, он постоянно облизывал губы, чмокал и с шипением, сквозь зубы, сплевывал на пол набегающую слюну. И не договаривал слов: так быстро бежали мысли, что язык не успевал догнать их.

Однажды днем в сопровождении конвойного к нему вошел старший надзиратель. Покосился на заплеванный пол и угрюмо сказал:

— Ишь запакостил!

Цыганок быстро возразил:

— Ты вот, жирная морда, всю землю запакостил, а я тебе ничего. Зачем прилез?

Все так же угрюмо надзиратель предложил ему стать палачом. Цыганок оскалил зубы и захохотал.

— Ай не находится? Ловко! Вот и повесь, поди, ха-ха! И шея есть, и веревка есть, а вешать-то некому. Ей-богу, ловко!

— Жив останешься зато.

— Ну еще бы: не мертвый же я тебе вешать-то

буду. Сказал, дурак!

— Так как же? Тебе-то все равно: так или этак.

— А как у вас вешают? Небось втихомолку душат!

— Нет, с музыкой, — огрызнулся надзиратель.

— Ну и дурак. Конечно, надо с музыкой. Вот так! — И он запел что-то залихватское.

— Совсем ты, милый, порешился, — сказал надзиратель. — Ну, так как же, говори толком.

Цыганок оскалился:

— Какой скорый! Еще разок приди, тогда скажу.

И в хаос ярких, но незаконченных образов, угнетавших Цыганка своею стремительностью, ворвался новый: как хорошо быть палачом в красной рубахе. Он живо представлял себе площадь, залитую народом, высокий помост, и как он, Цыганок, в красной рубахе разгуливает по нем с топориком. Солнце освещает головы, весело поблескивает на топорике, и так все весело и богато, что даже тот, кому сейчас рубить голову, тоже улыбается. А за народом видны телеги и морды лошадей — то мужики наехали из деревни; а дальше видно поле.

— Ц-ах! — чмокал Цыганок, облизываясь, и сплевывал набегавшую слюну.

И вдруг точно меховую шапку нахлобучили ему до самого рта: становилось темно и душно, и куском нетающего льду делалось сердце, посылая мелкую сухую дрожь.

Еще раза два заходил надзиратель, и, оскалив зубы, Цыганок говорил:

— Какой скорый. Еще разок зайди.

И наконец, мельком, в форточку, надзиратель крикнул:

— Проворонил свое счастье, ворона! Другого нашли!

— Ну и черт с тобой, вешай сам! — огрызнулся Цыганок. И перестал мечтать о палачестве.

Но под конец, чем ближе к казни, стремительность разорванных образов становилась невыносимою. Цыганку уже хотелось остановиться, раскорячить ноги и остановиться, но крутящийся поток уносил его, и ухватиться не за что было: все плыло кругом. И уже стал беспокойным сон: появились новые, выпуклые, тяжелые, как деревянные, раскрашенные чурки, сновидения, еще более стремительные, чем мысли. Уже не поток это был, а бесконечное падение с бесконечной горы, кружащийся полет через весь видимо красочный мир. На воле Цыганок носил одни довольно франтовские усы, а в тюрьме у

него отросла короткая, черная, колючая борода, и это делало его страшным и сумасшедшим по виду. Временами Цыганок действительно забывался и совершенно бессмысленно кружился по камере, но все еще ощупывал шершавые штукатуренные стены. И воду пил, как лошадь.

Как-то к вечеру, когда зажгли огонь, Цыганок стал на четвереньки посреди камеры и завыл дрожащим волчьим воем. Был он как-то особенно серьезен при этом и выл так, будто делал важное и необходимое дело. Набирал полную грудь воздуха и медленно выпускал его в продолжительном, дрожащем вое; и внимательно, зажмурив глаза, прислушивался, как выходит. И самая дрожь в голосе казалась несколько умышленною; и не кричал он бестолково, а выводил тщательно каждую ноту в этом зверином вопле, полном несказанного ужаса и скорби.

Потом сразу оборвал вой и несколько минут, не поднимаясь с четверенек, молчал. Вдруг тихонько, в землю, забормотал:

— Голубчики, миленькие… Голубчики, миленькие, пожалейте… Голубчики!.. Миленькие!..

И тоже как будто прислушивался, как выходит. Скажет слово и прислушивается.

Потом вскочил — и целый час, не переводя

духа, ругался по-матерщине.

— У, такие-сякие, туда-та-та-та! — орал он, выворачивая налившиеся кровью глаза. — Вешать так вешать, а не то… У, такие-сякие…

И белый как мел солдат, плача от тоски, от ужаса, тыкал в дверь дулом ружья и беспомощно кричал:

— Застрелю! Ей-богу, застрелю! Слышишь!

Но стрелять не смел: в приговоренных к казни, если не было настоящего бунта, никогда не стреляли. А Цыганок скрипел зубами, бранился и плевал — его человеческий мозг, поставленный на чудовищно острую грань между жизнью и смертью, распадался на части, как комок сухой и выветрившейся глины.

Когда явились ночью в камеру, чтобы везти Цыганка на казнь, он засуетился и как будто ожил. Во рту стало еще слаще, и слюна набиралась неудержимо, но щеки немного порозовели, и в глазах заискрилось прежнее, немного дикое лукавство. Одеваясь, он спросил чиновника:

— Кто будет вешать-то? Новый? Поди, еще руку не набил.

— Об этом вам нечего беспокоиться, — сухо ответил чиновник.

— Как же не беспокоиться, ваше благородие,

вешать-то будут меня, а не вас. Вы хоть мыла-то казенного на удавочку не пожалейте.

— Хорошо, хорошо, прошу вас замолчать.

— А то он у вас тут все мыло поел, — указал Цыганок на надзирателя, — ишь как рожа-то лоснится.

— Молчать!

— Уж не пожалейте!

Цыганок захохотал, но во рту становилось все слаще, и вдруг как-то странно начали неметь ноги. Все же, выйдя на двор, он сумел крикнуть:

— Карету графа Бенгальского!

5. Поцелуй – и молчи

Приговор относительно пяти террористов был объявлен в окончательной форме и в тот же день конфирмован. Осужденным не сказали, когда будет казнь, но по тому, как делалось обычно, они знали, что их повесят в эту же ночь или, самое позднее, в следующую. И когда им предложили видеться на следующий день, то есть в четверг, с родными, они поняли, что казнь будет в пятницу на рассвете.

У Тани Ковальчук близких родных не было, а те, что и были, находились где-то в глуши, в Малороссии, и едва ли даже знали о суде и предстоящей казни; у Муси и Вернера, как неизвестных, родных совсем не предполагалось, и только двоим, Сергею Головину и Василию Каширину, предстояло свидание с родителями. И оба они с ужасом и тоскою думали об этом свидании, но не решились отказать старикам в последнем разговоре, в последнем поцелуе.

Особенно мучился предстоящим свиданием Сергей Головин. Он очень любил отца своего и мать, еще совсем недавно виделся с ними и теперь был в ужасе — что это будет такое. Самая

казнь, во всей ее чудовищной необычности, в поражающем мозг безумии ее, представлялась воображению легче и казалась не такою страшною, как эти несколько минут, коротких и непонятных, стоящих как бы вне времени, как бы вне самой жизни. Как смотреть, что думать, что говорить — отказывался понять его человеческий мозг. Самое простое и обычное: взять за руку, поцеловать, сказать: «Здравствуй, отец», — казалось непостижимо ужасным в своей чудовищной, нечеловеческой, безумной лживости.

После приговора осужденных не посадили вместе, как предполагала Ковальчук, а оставили каждого в своей одиночке; и все утро, до одиннадцати часов, когда пришли родители, Сергей Головин шагал бешено по камере, щипал бородку, морщился жалко и что-то ворчал. Иногда на всем ходу останавливался, набирал полную грудь воздуха и отдувался, как человек, который слишком долго пробыл под водою. Но так он был здоров, так крепко сидела в нем молодая жизнь, что даже в эти минуты жесточайших страданий кровь играла под кожей и окрашивала щеки, и светло и наивно голубели глаза.

Произошло все, однако, гораздо лучше, чем ожидал Сергей.

Первым вошел в комнату, где происходило свидание, отец Сергея, полковник в отставке, Николай Сергеевич Головин. Был он весь ровно белый, лицо, борода, волосы и руки, как будто снежную статую обрядили в человеческое платье; и все тот же был сюртучок, старенький, но хорошо вычищенный, пахнущий бензином, с новенькими поперечными погонами; и вошел он твердо, парадно, крепкими, отчетливыми шагами. Протянул белую сухую руку и громко сказал:

— Здравствуй, Сергей!

За ним мелко шагала мать и странно улыбалась. Но тоже пожала руку и громко повторила:

— Здравствуй, Сереженька!

Поцеловала в губы — и молча села. Не бросилась, не заплакала, не закричала, не сделала чего-то ужасного, чего ожидал Сергей, — а поцеловала и молча села. И даже расправила дрожащими руками черное шелковое платье.

Сергей не знал, что всю предыдущую ночь, затворившись в своем кабинетике, полковник с напряжением всех своих сил обдумывал этот ритуал. «Не отягчить, а облегчить должны мы последнюю минуту нашему сыну», — твердо решил полковник и тщательно взвешивал каждую возможную фразу завтрашнего разговора, каждое

движение. Но иногда запутывался, терял и то, что успел приготовить, и горько плакал в углу клеенчатого дивана. А утром объяснил жене, как нужно держать себя на свидании.

— Главное, поцелуй — и молчи! — учил он. — Потом можешь и говорить, несколько спустя, а когда поцелуешь, то молчи. Не говори сразу после поцелуя, понимаешь? — а то скажешь не то, что следует.

— Понимаю, Николай Сергеевич, — отвечала мать, плача.

— И не плачь. Избавь тебя господи плакать! Да ты его убьешь, если плакать будешь, старуха!

— А зачем же ты сам плачешь?

— С вами заплачешь! Не должна плакать, слышишь?

— Хорошо, Николай Сергеевич.

На извозчике он хотел еще раз повторить наставление, но позабыл. И так и ехали они молча, согнувшись, оба седые и старые, и думали, а город весело шумел: была Масленая неделя и на улицах было шумно и людно.

Сели. Полковник стал в приготовленной позе, заложив правую руку за борт сюртука. Сергей посидел одно мгновение, встретил близко морщинистое лицо матери и вскочил.

— Посиди, Сереженька, — попросила мать.

— Сядь, Сергей, — подтвердил отец.

Помолчали. Мать странно улыбалась.

— Как мы хлопотали за тебя, Сереженька.

— Напрасно это, мамочка…

Полковник твердо сказал:

— Мы должны были сделать это, Сергей, чтобы ты не думал, что родители оставили тебя.

Опять помолчали. Было страшно произнести слово, как будто каждое слово в языке потеряло свое значение и значило только одно: смерть. Сергей посмотрел на чистенький, пахнущий бензином сюртучок отца и подумал: «Теперь денщика нет, значит, он сам его чистил. Как же это я раньше не замечал, когда он чистит сюртук? Утром, должно быть». И вдруг спросил:

— А как сестра? Здорова?

— Ниночка ничего не знает, — поспешно ответила мать. Но полковник строго остановил ее:

— Зачем лгать? Девочка прочла в газетах. Пусть Сергей знает, что все… близкие его… в это время… думали и…

Дальше он не сумел продолжать и остановился. Вдруг лицо матери как-то сразу смялось, расплылось, заколыхалось, стало мокрым и диким. Выцветшие глаза безумно таращились, дыхание

делалось все чаще и короче и громче.

— Се… Сер… Се… Се… — повторяла она, не сдвигая губ. — Се…

— Мамочка!

Полковник шагнул вперед и, весь трясясь, каждой складкой своего сюртука, каждою морщинкою лица, не понимая, как сам он ужасен в своей мертвенной белизне, в своей вымученной отчаянной твердости, заговорил жене:

— Молчи! Не мучь его! Не мучь! Не мучь! Ему умирать! Не мучь!

Испуганная, она уже молчала, а он все еще сдержанно тряс перед грудью сжатыми кулаками и твердил:

— Не мучь!

Потом отошел назад, заложил за борт сюртука дрожащую руку и громко, с выражением усиленного спокойствия, спросил белыми губами:

— Когда?

— Завтра утром, — такими же белыми губами ответил Сергей.

Мать смотрела вниз, жевала губами и как будто ничего не слышала. И, продолжая жевать, точно выронила простые и странные слова:

— Ниночка велела поцеловать тебя, Сережень-ка.

— Поцелуй ее от меня, — сказал Сергей.

— Хорошо. Еще Хвостовы тебе кланяются.

— Какие Хвостовы? Ах, да!

Полковник перебил:

— Ну, надо идти. Поднимайся, мать, надо.

Вдвоем они подняли ослабевшую мать.

— Простись! — приказал полковник. — Перекрести.

Она сделала все, что ей говорили. Но, крестя и целуя сына коротким поцелуем, она качала головою и твердила бессмысленно:

— Нет, это не так. Нет, не так. Нет, нет. Как же я потом? Как же я скажу? Нет, не так.

— Прощай, Сергей! — сказал отец.

Они пожали руки и крепко, но коротко поцеловались.

— Ты… — начал Сергей.

— Ну? — отрывисто спросил отец.

— Нет, не так. Нет, нет. Как же я скажу? — твердила мать, покачивая головою. Она уже опять успела сесть и вся покачивалась.

— Ты… — опять начал Сергей.

Вдруг лицо его жалко, по-ребячьи, сморщилось, и глаза сразу залило слезами. Сквозь их искрящуюся грань он близко увидел белое лицо отца с такими же глазами.

— Ты, отец, благородный человек.

— Что ты! Что ты! — испугался полковник.

И вдруг, точно сломавшись, упал головою на плечо к сыну. Был он когда-то выше Сергея, а теперь стал низеньким, и пушистая, сухая голова беленьким комочком лежала на плече сына. И оба молча жадно целовали: Сергей — пушистые белые волосы, а он — арестантский халат.

— А я? — вдруг сказал громкий голос.

Оглянулись: мать стояла и, закинув голову, смотрела с гневом, почти с ненавистью.

— Что ты, мать? — крикнул полковник.

— А я? — говорила она, качая головою, с безумной выразительностью. — Вы целуетесь, а я? Мужчины, да? А я? А я?

— Мамочка! — бросился к ней Сергей.

Тут было то, о чем нельзя и не надо рассказывать.

Последними словами полковника были:

— Благословляю тебя на смерть, Сережа. Умри храбро, как офицер.

И они ушли. Как-то ушли. Были, стояли, говорили — и вдруг ушли. Вот здесь сидела мать, вот здесь стоял отец — и вдруг как-то ушли. Вернувшись в камеру, Сергей лег на койку, лицом к стене, чтобы укрыться от солдат, и долго плакал.

Потом устал от слез и крепко уснул.

* * *

К Василию Каширину пришла только мать — отец, богатый торговец, не пожелал прийти. Василий встретил старуху, шагая по комнате и дрожа от холода, хотя было тепло и даже жарко. И разговор был короткий, тяжелый.

— Не стоило вам, мамаша, приходить. Только себя и меня измучите.

— Зачем ты это, Вася! Зачем ты это сделал! Господи!

Старуха заплакала, утираясь кончиками черного шерстяного платка. И с привычкою, которая была у него и его братьев, кричать на мать, которая ничего не понимает, он остановился и, дрожа от холода, сердито заговорил:

— Ну вот! Так я и знал! Ведь вы же ничего не понимаете, мамаша! Ничего!

— Ну, ну, хорошо. Что тебе — холодно?

— Холодно… — отрезал Василий и опять зашагал, искоса, сердито глядя на мать.

— Может, простудился?

— Ах, мамаша, какая тут простуда, когда…

И безнадежно махнул рукою. Старуха хотела сказать: «А наш-то с понедельника велел блины

ставить», — но испугалась и заголосила:

— Говорила я ему: ведь сын ведь, пойди, дай отпущение. Нет, уперся, старый козел…

— Ну его к черту! Какой он мне отец! Как был всю жизнь мерзавцем, так и остался.

— Васенька, это про отца-то! — Старуха вся укоризненно вытянулась.

— Про отца.

— Про родного отца!

— Какой он мне родной отец.

Было дико и нелепо. Впереди стояла смерть, а тут вырастало что-то маленькое, пустое, ненужное, и слова трещали, как пустая скорлупа орехов под ногою. И, почти плача — от тоски, от того вечного непонимания, которое стеною всю жизнь стояло между ним и близкими и теперь, в последний предсмертный час, дико таращило свои маленькие глупые глаза, Василий закричал:

— Да поймите же вы, что меня вешать будут! Вешать! Понимаете или нет? Вешать!

— А ты бы не трогал людей, тебя бы… — кричала старуха.

— Господи! Да что же это! Ведь этого даже у зверей не бывает. Сын я вам или нет?

Он заплакал и сел в угол. Заплакала и старуха в своем углу. Бессильные хоть на мгновение слить-

ся в чувстве любви и противопоставить его ужасу грядущей смерти, плакали они холодными, не согревающими сердца слезами одиночества. Мать сказала:

— Ты вот говоришь, мать я тебе или нет, упрекаешь. А я за эти дни совсем поседела, старухой стала. А ты говоришь, упрекаешь.

— Ну хорошо, хорошо, мамаша. Простите. Идти вам надо. Братьев там поцелуйте.

— Разве я не мать? Разве мне не жалко?

Наконец ушла. Плакала горько, утираясь кончиками платка, не видела дороги. И чем дальше отходила от тюрьмы, тем горючее лились слезы. Пошла назад к тюрьме, потом заблудилась дико в городе, где родилась, выросла, состарилась. Забрела в какой-то пустынный садик с несколькими старыми, обломанными деревьями и села на мокрой оттаявшей лавочке. И вдруг поняла: его завтра будут вешать.

Старуха вскочила, хотела бежать, но вдруг крепко закружилась голова, и она упала. Ледяная дорожка обмокла, была скользкая, и старуха никак не могла подняться: вертелась, приподнималась на локтях и коленях и снова валилась на бок. Черный платок сполз с головы, открыв на затылке лысинку среди грязно-седых волос,

и почему-то чудилось ей, что она пирует на свадьбе: женят сына, и она выпила вина и захмелела сильно.

— Не могу. Ей-же-богу, не могу! — отказывалась она, мотая головою, и ползала по ледяному мокрому насту, а ей все лили вино, все лили.

И уже больно становилось сердцу от пьяного смеха, от угощений, от дикого пляса, — а ей все лили вино. Все лили.

6. Часы бегут

В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часа вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Днем эта странная и печальная музыка терялась в шуме города, большой и людной улицы, проходившей возле крепости. Гудели трамваи, чокали копыта лошадей, далеко вперед кричали покачивающиеся автомобили; на Масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики-крестьяне, и бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял: немного пьяный, веселый масленичный говор; и так шла к разноголосице молодая весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера. С моря широкими, влажными порывами дул теплый ветер: казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные, свежие частички воздуха и смеются, летя.

Ночью улица затихала в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость, в плоских стенах которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину, чертою молчания, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого, движущегося города. И тогда слышен становился бой часов; чуждая земле, медленно и печально рождалась и гасла в высоте странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, звенела жалобно и тихо — обрывалась — снова звенела. Как большие, прозрачные, стеклянные капли, с неведомой высоты падали в металлическую, тихо звенящую чашу часы и минуты. Или перелетные птицы летели.

В камеры, где сидели по одному осужденные, и днем и ночью приносился только один этот звон. Сквозь крышу, сквозь толщу каменных стен проникал он, колебля тишину, — уходил незаметно, чтобы снова, так же незаметно, прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его; иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма, особенные в ней были правила, суровые, твердые и жесткие, как угол крепостной стены; и если в жестокости есть благородство, то была благородна глухая,

мертвая, торжественно немая тишина, ловящая шорохи и легкое дыхание.

И в этой торжественной тишине, колеблемой печальным звоном убегающих минут, отделенные от всего живого, пять человек, две женщины и трое мужчин, ожидали наступления ночи, рассвета и казни, и каждый по-своему готовился к ней.

7. Смерти нет

Как во всю жизнь свою Таня Ковальчук думала только о других и никогда о себе, так и теперь только за других мучилась она и тосковала сильно. Смерть она представляла себе постольку, поскольку предстоит она, как нечто мучительное, для Сережи Головина, для Муси, для других, — ее же самой она как бы не касалась совсем.

И, вознаграждая себя за вынужденную твердость на суде, она целыми часами плакала, как умеют плакать старые женщины, знавшие много горя, или молодые, но очень жалостливые, очень добрые люди. И предположение о том, что у Сережи может не оказаться табаку, а Вернер, может быть, лишен своего привычного крепкого чаю, и это еще вдобавок к тому, что они должны умереть, мучило ее, пожалуй, не меньше, чем самая мысль о казни. Казнь — это что-то неизбежное и даже постороннее, о чем и думать не стоит, а если у человека в тюрьме, да еще перед казнью, нет табаку, это совсем невыносимо. Вспоминала, перебирала милые подробности совместного житья и замирала от страха, воображая встречу Сергея с родителями.

И особенною жалостью жалела она Мусю. Уже давно ей казалось, что Муся любит Вернера, и, хотя это была совершенная неправда, все же мечтала для них обоих о чем-то хорошем и светлом. На свободе Муся носила серебряное колечко, на котором был изображен череп, кость и терновый венец вокруг них; и часто, с болью, смотрела Таня Ковальчук на это кольцо, как на символ обреченности, и то шутя, то серьезно упрашивала Мусю снять его.

— Подари его мне, — упрашивала она.

— Нет, Танечка, не подарю. А у тебя скоро на пальце другое кольцо будет.

Почему-то, в свою очередь, о ней думали, что она непременно и в скором времени должна выйти замуж, и это обижало ее, — никакого мужа она не хотела. И, вспоминая эти полушутливые разговоры свои с Мусей и то, что Муся теперь действительно обречена, она задыхалась от слез, от материнской жалости. И всякий раз, как били часы, поднимала заплаканное лицо и прислушивалась, — как там, в тех камерах, принимают этот тягучий, настойчивый зов смерти.

А Муся была счастлива.

Заложив за спину руки в большом, не по росту, арестантском халате, делающем ее странно

похожей на мужчину, на мальчика-подростка, одевшегося в чужое платье, она шагала ровно и неутомимо. Рукава халата были ей длинны, и она отвернула их, и тонкие, почти детские, исхудалые руки выходили из широких отверстий, как стебли цветка из отверстия грубого, грязного кувшина. Тонкую белую шею шерстила и натирала жесткая материя, и изредка движением обеих рук Муся высвобождала горло и осторожно нащупывала пальцем то место, где краснела и саднила раздраженная кожа.

Муся шагала — и оправдывалась перед людьми, волнуясь и краснея. И оправдывалась она в том, что ее, молоденькую, незначительную, сделавшую так мало и совсем не героиню, подвергнут той самой почетной и прекрасной смерти, какою умирали до нее настоящие герои и мученики. С непоколебимой верой в людскую доброту, в сочувствие, в любовь она представляла себе, как теперь волнуются из-за нее люди, как мучатся, как жалеют, — и ей было совестно до красноты. Точно, умирая на виселице, она совершала какую-то огромную неловкость.

Она уже просила при последнем свидании своего защитника, чтобы он достал ей яду, но вдруг спохватилась: а если он и другие подумают, что

это она из рисовки или из трусости, и вместо того, чтобы умереть скромно и незаметно, наделает шуму еще больше? И торопливо добавила:

— Нет, впрочем, не надо.

И теперь она хотела только одного: объяснить людям и доказать им точно, что она не героиня, что умирать вовсе не страшно и чтобы о ней не жалели и не заботились. Объяснить им, что она вовсе не виновата в том, что ее, молоденькую, незначительную, подвергают такой смерти и поднимают из-за нее столько шуму.

Как человек, которого действительно обвиняют, Муся искала оправданий, пыталась найти хоть что-нибудь, что возвысило бы ее жертву, придало бы ей настоящую цену. Рассуждала:

— Конечно, я молоденькая и могла бы еще долго жить. Но…

И, как меркнет свеча в блеске взошедшего солнца, тусклой и темной казалась молодость и жизнь перед тем великим и лучезарным, что должно озарить ее скромную голову. Нет оправдания.

Но, быть может, то особенное, что она носит в душе — безграничная любовь, безграничная готовность к подвигу, безграничное пренебрежение к себе? Ведь она действительно не виновата, что ей не дали сделать всего, что она могла и

хотела, — убили ее на пороге храма, у подножия жертвенника.

Но если это так, если человек ценен не только по тому, что он сделал, а и по тому, что он хотел сделать, — тогда… тогда она достойна мученического венца.

«Неужели? — думает Муся стыдливо. — Неужели я достойна? Достойна того, чтобы обо мне плакали люди, волновались, обо мне, такой маленькой и незначительной?»

И несказанная радость охватывает ее. Нет ни сомнений, ни колебаний, она принята в лоно, она правомерно вступает в ряды тех светлых, что извека через костер, пытки и казни идут к высокому небу. Ясный мир, и покой, и безбрежное, тихо сияющее счастье. Точно отошла она уже от земли и приблизилась к неведомому солнцу правды и жизни и бесплотно парит в его свете.

«И это — смерть. Какая же это смерть?» — думает Муся блаженно.

И если бы собрались к ней в камеру со всего света ученые, философы и палачи, разложили перед нею книги, скальпели, топоры и петли и стали доказывать, что смерть существует, что человек умирает и убивается, что бессмертия нет, — они только удивили бы ее. Как бессмертия нет, когда

уже сейчас она бессмертна? О каком же еще бессмертии, о какой еще смерти можно говорить, когда уже сейчас она мертва и бессмертна, жива в смерти, как была жива в жизни?

И если бы к ней в камеру, наполняя ее зловонием, внесли гроб с ее собственным разлагающимся телом и сказали:

— Смотри! Это ты!

Она посмотрела бы и ответила:

— Нет. Это не я.

И когда ее стали бы убеждать, пугая зловещим видом разложения, что это она, — она! — Муся ответила бы с улыбкой:

— Нет. Это вы думаете, что *это* — я, но *это* — не я. Я, та, с которой вы говорите, как же я могу быть *этим*?

— Но ты умрешь и станешь этим.

— Нет, я не умру.

— Тебя казнят. Вот петля.

— Меня казнят, но я не умру. Как могу я умереть, когда уже сейчас я — бессмертна?

И отступили бы ученые, философы и палачи, говоря с содроганием:

— Не касайтесь этого места. Это место — свято.

О чем еще думала Муся? О многом думала она — ибо нить жизни не обрывалась для нее смертью

и плелась спокойно и ровно. Думала о товарищах — и о тех далеких, что с тоскою и болью переживают их казнь, и о тех близких, что вместе взойдут на эшафот. Удивлялась Василию, чего он так испугался, — он всегда был очень храбр и даже мог шутить со смертью. Так, еще утром во вторник, когда они надевали с Василием на пояса разрывные снаряды, которые через несколько часов должны были взорвать их самих, у Тани Ковальчук руки дрожали от волнения и ее пришлось отстранить, а Василий шутил, паясничал, вертелся, был так неосторожен даже, что Вернер строго сказал:

— Не нужно фамильярничать со смертью.

Чего же теперь он испугался? Но так чужд душе Муси был этот непонятный страх, что скоро она перестала думать о нем и разыскивать причину, — вдруг отчаянно захотелось увидеть Сережу Головина и о чем-то посмеяться с ним. Подумала — и еще отчаяннее захотелось увидеть Вернера и в чем-то убедить его. И, представляя, что Вернер ходит рядом с нею своею четкой, размеренной, вбивающей каблуки в землю походкой, Муся говорила ему:

— Нет, Вернер, голубчик, это все пустяки, это совсем неважно, убил ты NN или нет. Ты умный,

но ты точно в свои шахматы играешь: взять одну фигуру, взять другую, тогда и выиграно. Здесь важно, Вернер, что мы сами готовы умереть. Понимаешь? Ведь эти господа что думают? Что нет ничего страшнее смерти. Сами выдумали смерть, сами ее боятся и нас пугают. Мне бы даже так хотелось: выйти одной перед целым полком солдат и начать стрелять в них из браунинга. Пусть я одна, а их тысячи, и я никого не убью. Это-то и важно, что их тысячи. Когда тысячи убивают одного, то, значит, победил этот один. Это правда, Вернер, голубчик.

Но и это было так ясно, что не хотелось доказывать дальше, — Вернер теперь и сам понял, наверное. А может, и просто не хотелось ее мысли останавливаться на одном — как легко парящей птице, которой видимы безбрежные горизонты, которой доступны весь простор, вся глубина, вся радость ласкающей и нежной синевы. Звонили часы непрестанно, колебля глухую тишину; и в этот гармоничный, отдаленно прекрасный звук вливались мысли и тоже начинали звенеть; и музыкою становились плавно скользящие образы. Словно тихою темною ночью ехала куда-то Муся по широкой и ровной дороге, и покачивались мягкие рессоры, и бубенцы звенели. Отошли

все тревоги и волнения, растворилось во тьме усталое тело, и радостно-усталая мысль спокойно творила яркие образы, упивалась их красками и тихим покоем. Вспомнила Муся трех товарищей своих, повешенных недавно, и лица их были ясны, и радостны, и близки — ближе тех уже, что в жизни. Так утром радостно думает человек о доме своих друзей, куда войдет он вечером с приветом на смеющихся устах.

Очень устала Муся ходить. Прилегла осторожно на койку и продолжала грезить с легко закрытыми глазами. Звонили часы непрестанно, колебля немую тишину, и в их звенящих берегах тихо плыли светлые поющие образы. Муся думала:

«Неужели это смерть? Боже мой, как она прекрасна! Или это жизнь? Не знаю, не знаю. Буду смотреть и слушать».

Уже давно, с первых дней заключения, начал фантазировать ее слух. Очень музыкальный, он обострялся тишиною и на фоне ее из скудных крупиц действительности, с ее шагами часовых в коридоре, звоном часов, шелестом ветра на железной крыше, скрипом фонаря, творил целые музыкальные картины. Сперва Муся боялась их, отгоняла от себя, как болезненные галлюцинации, потом поняла, что сама она здорова и

никакой болезни тут нет, — и стала отдаваться им спокойно.

И теперь — вдруг совершенно ясно и отчетливо она услыхала звуки военной музыки. В изумлении она открыла глаза, приподняла голову — за окном стояла ночь, и часы звонили. «Опять, значит!» — подумала она спокойно и закрыла глаза. И как только закрыла, музыка заиграла снова. Ясно слышно, как из-за угла здания, справа, выходят солдаты, целый полк, и проходят мимо окна. Ноги равномерно отбивают такт по мерзлой земле: раз-два! раз-два! — слышно даже, как поскрипывает иногда кожа на сапоге, вдруг оскользается и тут же выправляется чья-то нога. И музыка ближе: совершенно незнакомый, но очень громкий и бодрый праздничный марш. Очевидно, в крепости какой-то праздник.

Вот оркестр поравнялся с окном, и вся камера полна веселых, ритмичных, дружно-разноголосых звуков. Одна труба, большая, медная, резко фальшивит, то запаздывает, то смешно забегает вперед — Муся видит солдатика с этой трубой, его старательную физиономию, и смеется.

Все удаляется. Замирают шаги: раз-два! раз-два! Издалека музыка еще красивее и веселее. Еще раз-другой громко и фальшиво-радостно вскри-

кивает медным голосом труба, и все гаснет. И снова на колокольне вызванивают часы, медленно, печально, еле-еле колебля тишину.

«Ушли!» — думает Муся с легкой грустью. Ей жаль ушедших звуков, таких веселых и смешных; жаль даже ушедших солдатиков, потому что эти старательные, с медными трубами, с поскрипывающими сапогами совсем иные, совсем не те, в кого хотела бы она стрелять из браунинга.

— Ну, еще! — просит она ласково. И приходят еще. Склоняются над нею, окружают ее прозрачным облаком и поднимают вверх, туда, где несутся перелетные птицы и кричат, как герольды. Направо, налево, вверх и вниз — кричат, как герольды. Зовут, оповещают, далеко возвещают о полете своем. Широко машут крылами, и тьма их держит, как держит их и свет; и на выпуклых грудях, разрезающих воздух, отсвечивает снизу голубым сияющий город. Все ровнее бьется сердце, все спокойнее и тише дыхание Муси. Она засыпает. Лицо устало и бледно; под глазами круги, и так тонки девичьи исхудалые руки, — а на устах улыбка. Завтра, когда будет всходить солнце, это человеческое лицо исказится нечеловеческой гримасой, зальется густою кровью мозг и вылезут из орбит остекленевшие глаза, — но

сегодня она спит тихо и улыбается в великом бессмертии своем.

Заснула Муся.

А в тюрьме идет своя жизнь, глухая и чуткая, слепая и зоркая, как сама вечная тревога. Где-то ходят. Где-то шепчут. Где-то звякнуло ружье. Кажется, кто-то крикнул. А может быть, и никто не кричал — просто чудится от тишины.

Вот бесшумно отпала форточка в двери — в темном отверстии показывается темное усатое лицо. Долго и удивленно таращит на Мусю глаза — и пропадает бесшумно, как явилось.

Звонят и поют куранты — долго, мучительно. Точно на высокую гору ползут к полуночи усталые часы, и все труднее и тяжелее подъем. Обрываются, скользят, летят со стоном вниз — и вновь мучительно ползут к своей черной вершине.

Где-то ходят. Где-то шепчут. И уже впрягают коней в черные без фонарей кареты.

8. Есть и смерть, есть и жизнь

О смерти Сергей Головин никогда не думал, как о чем-то постороннем и его совершенно не касающемся. Он был крепкий, здоровый, веселый юноша, одаренный той спокойной и ясной жизнерадостностью, при которой всякая дурная, вредная для жизни мысль или чувство быстро и бесследно исчезает в организме. Как быстро заживали у него всякие порезы, раны и уколы, так и все тягостное, ранящее душу, немедленно выталкивалось наружу и уходило. И во всякое дело или даже забаву, была ли то фотография, велосипед или приготовление к террористическому акту, он вносил ту же спокойную и жизнерадостную серьезность: все в жизни весело, все в жизни важно, все нужно делать хорошо.

И все он делал хорошо: великолепно управлялся с парусом, стрелял из револьвера прекрасно; был крепок в дружбе, как и в любви, и фанатически верил в «честное слово». Свои смеялись над ним, что если сыщик, рожа, заведомый шпион даст ему честное слово, что он не сыщик, — Сергей поверит ему и пожмет товарищески руку. Один был недостаток: был уверен, что поет хоро-

шо, тогда как слуху не имел ни малейшего, пел отвратительно и фальшивил даже в революционных песнях; и обижался, когда смеялись.

— Или вы все ослы, или я осел, — говорил он серьезно и обиженно. И так же серьезно, подумав, все решали:

— Ты осел, по голосу слышно.

Но за недостаток этот, как иногда бывает с хорошими людьми, его любили, пожалуй, даже больше, чем за достоинства.

Смерти он настолько не боялся и настолько не думал о ней, что в роковое утро, перед уходом из квартиры Тани Ковальчук, он один, как следует, с аппетитом, позавтракал: выпил два стакана чаю, наполовину разбавленного молоком, и съел целую пятикопеечную булку. Потом посмотрел с грустью на нетронутый хлеб Вернера и сказал:

— А ты что же не ешь? Ешь, подкрепиться надо.

— Не хочется.

— Ну так я съем. Ладно?

— Ну и аппетит же у тебя, Сережа.

Вместо ответа Сергей с набитым ртом, глухо и фальшиво запел:

Вихри враждебные веют над нами…

После ареста он было загрустил: сделано нехорошо, провалились, но подумал: «Есть теперь другое, что нужно сделать хорошо, — умереть», — и развеселился. И как ни странно, со второго же утра в крепости начал заниматься гимнастикой по необыкновенно рациональной системе какого-то немца Мюллера, которой увлекался: разделся голый и, к тревожному удивлению наблюдавшего часового, аккуратно проделал все предписанные восемнадцать упражнений. И то, что часовой наблюдал и, видимо, удивлялся, было ему приятно, как пропагандисту мюллеровской системы; и хотя знал, что ответа не получит, все же сказал торчащему в окошечке глазу:

— Хорошо, брат, укрепляет. Вот бы у вас в полку ввести что надо, — крикнул он убеждающе и кротко, чтобы не испугать, не подозревая, что солдат считает его просто сумасшедшим.

Страх смерти начал являться к нему постепенно и как-то толчками: точно возьмет кто и снизу, изо всей силы, подтолкнет сердце кулаком. Скорее больно, чем страшно. Потом ощущение забудется — и через несколько часов явится снова, и с каждым разом становится оно все продолжительнее и сильнее. И уже ясно начинает принимать мутные очертания какого-то большо-

го и даже невыносимого страха.

«Неужели я боюсь? — подумал Сергей с удивлением. — Вот еще глупости!»

Боялся не он — боялось его молодое, крепкое, сильное тело, которое не удавалось обмануть ни гимнастикой немца Мюллера, ни холодными обтираниями. И чем крепче, чем свежее оно становилось после холодной воды, тем острее и невыносимее делались ощущения мгновенного страха. И именно в те минуты, когда на воле он ощущал особый подъем жизнерадостности и силы, утром, после крепкого сна и физических упражнений, — тут появлялся этот острый, как бы чужой страх. Он заметил это и подумал:

«Глупо, брат Сергей. Чтобы оно умерло легче, его надо ослабить, а не укреплять. Глупо!»

И бросил гимнастику и обтирания. А солдату в объяснение и в оправдание крикнул:

— Ты не смотри, что я бросил. Штука, брат, хорошая. Только для тех, кого вешать, не годится, а для всех других очень хорошо.

И действительно, стало как будто легче. Попробовал также поменьше есть, чтобы ослабеть еще, но, несмотря на отсутствие чистого воздуха и упражнений, аппетит был очень велик, трудно было сладить, съедал все, что приносили. Тогда

начал делать так: еще не принимаясь за еду, выливал половину горячего в ушат; и это как будто помогло: появилась тупая сонливость, истома.

— Я тебе покажу! — грозил он телу, а сам с грустью, нежно водил рукою по вялым, обмякшим мускулам.

Но скоро тело привыкло и к этому режиму, и страх смерти появился снова, — правда, не такой острый, не такой огневый, но еще более нудный, похожий на тошноту. «Это оттого, что тянут долго, — подумал Сергей, — хорошо бы все это время, до казни, проспать», — и старался как можно дольше спать. Вначале удавалось, но потом, оттого ли, что переспал он, или по другой причине, появилась бессонница. И с нею пришли острые, зоркие мысли, а с ними и тоска о жизни.

«Разве я ее, дьявола, боюсь? — думал он о смерти. — Это мне жизни жалко. Великолепная вещь, что бы там ни говорили пессимисты. А что, если пессимиста повесить? Ах, жалко жизни, очень жалко. И зачем борода у меня выросла? Не росла, не росла, а то вдруг выросла. И зачем?»

Покачивал головою грустно и вздыхал продолжительными тяжелыми вздохами. Молчание — и продолжительный, глубокий вздох; опять короткое молчание — и снова еще более продол-

жительный, тяжелый вздох.

Так было до суда и до последнего страшного свидания со стариками. Когда он проснулся в камере с ясным сознанием, что с жизнью все покончено, что впереди только несколько часов ожидания в пустоте и смерть, — стало как-то странно. Точно его оголили всего, как-то необыкновенно оголили — не только одежду с него сняли, но отодрали от него солнце, воздух, шум и свет, поступки и речи. Смерти еще нет, но нет уже и жизни, а есть что-то новое, поразительно непонятное, и не то совсем лишенное смысла, не то имеющее смысл, но такой глубокий, таинственный и нечеловеческий, что открыть его невозможно.

— Фу ты, черт! — мучительно удивлялся Сергей. — Да что же это такое? Да где же это я? Я… какой я?

Оглядел всего себя, внимательно, с интересом, начиная от больших арестантских туфель, кончая животом, на котором оттопыривался халат. Прошелся по камере, растопырив руки и продолжая оглядывать себя, как женщина в новом платье, которое ей длинно. Повертел головою — вертится. И это, несколько страшное почему-то, есть он, Сергей Головин, и этого — не будет.

И все сделалось странно.

Попробовал ходить по камере — странно, что ходит. Попробовал сидеть — странно, что сидит. Попробовал выпить воды — странно, что пьет, что глотает, что держит кружку, что есть пальцы, и эти пальцы дрожат. Поперхнулся, закашлялся и, кашляя, думал: «Как это странно, я кашляю».

«Да что я, с ума, что ли, схожу! — подумал Сергей, холодея. — Этого еще недоставало, чтобы черт их побрал!»

Потер лоб рукою, но и это было странно. И тогда, не дыша, на целые, казалось, часы он замер в неподвижности, гася всякую мысль, удерживая громкое дыхание, избегая всякого движения — ибо всякая мысль было безумие, всякое движение было безумие. Времени не стало, как бы в пространство превратилось оно, прозрачное, безвоздушное, в огромную площадь, на которой все, и земля, и жизнь, и люди; и все это видимо одним взглядом, все до самого конца, до загадочного обрыва — смерти. И не в том было мучение, что видна смерть, а в том, что сразу видны и жизнь и смерть. Святотатственною рукою была отдернута завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и тайну смерти, и они перестали быть тайной, — но не сделались они и понятными, как истина, начертанная на неведомом языке. Не

было таких понятий в его человеческом мозгу, не было таких слов на его человеческом языке, которые могли бы охватить увиденное. И слова: «мне страшно» — звучали в нем только потому, что не было иного слова, не существовало и не могло существовать понятия, соответствующего этому новому, нечеловеческому состоянию. Так было бы с человеком, если бы он, оставаясь в пределах человеческого разумения, опыта и чувств, вдруг увидел самого Бога, — увидел и не понял бы, хотя бы и знал, что это называется Бог, и содрогнулся бы неслыханными муками неслыханного непонимания.

— Вот тебе и Мюллер! — вдруг громко, с чрезвычайной убедительностью произнес он и качнул головою. И с тем неожиданным переломом в чувстве, на который так способна человеческая душа, весело и искренно захохотал. — Ах ты, Мюллер! Ах ты, мой милый Мюллер! Ах ты, мой распрекрасный немец! И все-таки — ты прав, Мюллер, а я, брат Мюллер, осел.

Быстро несколько раз прошелся по камере и к новому, величайшему удивлению наблюдавшего в глазок солдата — быстро разделся догола и весело, с крайней старательностью проделал все восемнадцать упражнений; вытягивал и растя-

гивал свое молодое, несколько похудевшее тело, приседал, вдыхал и выдыхал воздух, становясь на носки, выбрасывал ноги и руки. И после каждого упражнения говорил с удовольствием:

— Вот это так! Вот это настоящее, брат Мюллер!

Щеки его раскраснелись, из пор выступили капельки горячего, приятного пота, и сердце стучало крепко и ровно.

— Дело в том, Мюллер, — рассуждал Сергей, выпячивая грудь так, что ясно обрисовались ребра под тонкой натянутой кожей, — дело в том, Мюллер, что есть еще девятнадцатое упражнение — подвешивание за шею в неподвижном положении. И это называется казнь. Понимаешь, Мюллер? Берут живого человека, скажем — Сергея Головина, пеленают его, как куклу, и вешают за шею, пока не умрет. Глупо это, Мюллер, но ничего не поделаешь — приходится.

Перегнулся на правый бок и повторил:

— Приходится, брат Мюллер.

9. Ужасное одиночество

Под тот же звон часов, отделенный от Сергея и Муси несколькими пустыми камерами, но одинокий столь тяжко, как если бы во всей вселенной существовал он один, в ужасе и тоске оканчивал свою жизнь несчастный Василий Каширин.

Потный, с прилипшей к телу мокрой рубахой, распустившимися, прежде курчавыми волосами, он судорожно и безнадежно метался по камере, как человек, у которого нестерпимая зубная боль. Присаживался, вновь бегал, прижимался лбом к стене, останавливался и что-то разыскивал глазами — словно искал лекарства. Он так изменился, что как будто имелись у него два разных лица, и прежнее, молодое, ушло куда-то, а на место его стало новое, страшное, пришедшее из темноты.

К нему страх смерти пришел сразу и овладел им безраздельно и властно. Еще утром, идя на явную смерть, он фамильярничал с нею, а уже к вечеру, заключенный в одиночную камеру, был закружен и захлестнут волною бешеного страха. Пока он сам, своею волею, шел на опасность и смерть, пока свою смерть, хотя бы и страшную по виду, он держал в собственных руках, ему

было легко и весело даже: в чувстве безбрежной свободы, смелого и твердого утверждения своей дерзкой и бесстрашной воли бесследно утопал маленький, сморщенный, словно старушечий страшок. Опоясанный адской машиной, он сам как бы превратился в адскую машину, включил в себя жестокий разум динамита, присвоил себе его огненную смертоносную мощь. И, идя по улице, среди суетливых, будничных, озабоченных своими делами людей, торопливо спасающихся от извозчичьих лошадей и трамвая, он казался себе пришлецом из иного, неведомого мира, где не знают ни смерти, ни страха.

И вдруг сразу резкая, дикая, ошеломляющая перемена. Он уже не идет, куда хочет, а его везут, — куда хотят. Он уже не выбирает места, а его сажают в каменную клетку и запирают на ключ, как вещь. Он уже не может выбрать свободно: жизнь или смерть, как все люди, а его непременно и неизбежно умертвят. За мгновение бывший воплощением воли, жизни и силы, он становится жалким образом единственного в мире бессилия, превращается в животное, ожидающее бойни, в глухую и безгласную вещь, которую можно переставлять, жечь, ломать. Что бы он ни говорил, слов его не послушают, а если станет кричать, то

заткнут рот тряпкой, и будет ли он сам передвигать ногами, его отведут и повесят; и станет ли он сопротивляться, барахтаться, ляжет наземь — его осилят, поднимут, свяжут и связанного поднесут к виселице. И то, что эту машинную работу над ним исполнят люди, такие же, как и он, придает им новый, необыкновенный и зловещий вид: не то призраков, чего-то притворяющегося, явившегося только нарочно, не то механических кукол на пружине: берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

И с первого же дня тюрьмы люди и жизнь превратились для него в непостижимо ужасный мир призраков и механических кукол. Почти обезумев от ужаса, он старался представить, что люди имеют язык и говорят, и не мог — казались немыми; старался вспомнить их речь, смысл слов, которые они употребляют при сношениях, — и не мог. Рты раскрываются, что-то звучит, потом они расходятся, передвигая ноги, и нет ничего.

Так чувствовал бы себя человек, если бы ночью, когда он в доме один, все вещи ожили, задвигались и приобрели над ним, человеком, неограниченную власть. Вдруг стали бы его судить: шкап, стул, письменный стол и диван. Он бы кричал

и метался, умолял, звал на помощь, а они что-то говорили бы по-своему между собою, потом повели его вешать: шкап, стул, письменный стол и диван. И смотрели бы на это остальные вещи.

И все стало казаться игрушечным Василию Каширину, присужденному к смертной казни через повешение: его камера, дверь с глазком, звон заведенных часов, аккуратно вылепленная крепость, и особенно та механическая кукла с ружьем, которая стучит ногами по коридору, и те другие, которые, пугая, заглядывают к нему в окошечко и молча подают еду. И то, что он испытывал, не было ужасом перед смертью; скорее смерти он даже хотел: во всей извечной загадочности и непонятности своей она была доступнее разуму, чем этот так дико и фантастично превратившийся мир. Более того: смерть как бы уничтожалась совершенно в этом безумном мире призраков и кукол, теряла свой великий и загадочный смысл, становилась также чем-то механическим и только поэтому страшным. Берут, хватают, ведут, вешают, дергают за ноги. Обрезают веревку, кладут, везут, закапывают.

Исчез из мира человек.

На суде близость товарищей привела Каширина в себя, и он снова, на мгновение, увидел людей:

сидят и судят его и что-то говорят на человеческом языке, слушают и как будто понимают. Но уже на свидании с матерью он, с ужасом человека, который начинает сходить с ума и понимает это, почувствовал ярко, что эта старая женщина в черном платочке — просто искусно сделанная механическая кукла, вроде тех, которые говорят: «па-па», «ма-ма», но только лучше сделанная. Старался говорить с нею, а сам, вздрагивая, думал:

«Господи! Да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кукла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это — кукла Василия Каширина».

Казалось, еще немного, и он услышит где-то треск механизма, поскрипывание несмазанных колес. Когда мать заплакала, на один миг снова мелькнуло что-то человеческое, но при первых же ее словах исчезло, и стало любопытно и ужасно смотреть, что из глаз куклы течет вода.

Потом, в своей камере, когда ужас стал невыносим, Василий Каширин попробовал молиться. От всего того, чем под видом религии была окружена его юношеская жизнь в отцовском купеческом доме, остался один противный, горький и раздражающий осадок, и веры не было. Но когда-то, быть может, в раннем еще детстве, он услыхал три слова, и они поразили его трепетным

волнением и потом на всю жизнь остались обвеянными тихой поэзией. Эти слова были: «Всех скорбящих радость».

Случалось, в тяжелые минуты он шепнет про себя, без молитвы, без определенного сознания: «Всех скорбящих радость» — и вдруг станет легче и захочется пойти к кому-то милому и жаловаться тихо:

— Наша жизнь… да разве это жизнь! Эх, милая вы моя, да разве это жизнь!

А потом вдруг и смешно станет, и захочется кучерявить волосы, выкинуть колено, подставить грудь под чьи-то удары: на, бей!

Никому, даже самым близким товарищам, он не говорил о своей «всех скорбящих радости» и даже сам как будто не знал о ней — так глубоко крылась она в душе его. И вспоминал не часто, с осторожностью.

И теперь, когда ужас неразрешимой, воочию представшей тайны с головою покрыл его, как вода в половодье прибрежную лозиночку, он захотел молиться. Хотел стать на колени, но стыдно сделалось перед солдатом, и, сложив руки у груди, тихо прошептал:

— Всех скорбящих радость!

И с тоскою, выговаривая умильно, повторил:

— Всех скорбящих радость, приди ко мне, поддержи Ваську Каширина.

Давно еще, когда он был на первом курсе университета и покучивал еще, до знакомства с Вернером и вступления в общество, он называл себя хвастливо и жалко «Васькой Кашириным» — теперь почему-то захотелось назваться так же. Но мертво и неотзывчиво прозвучали слова:

— Всех скорбящих радость!

Всколыхнулось что-то. Будто проплыл в отдалении чей-то тихий и скорбный образ и тихо погас, не озарив предсмертной тьмы. Били заведенные часы на колокольне. Застучал чем-то, шашкой, не то ружьем, солдат в коридоре и продолжительно, с переходами, зевнул.

— Всех скорбящих радость! И ты молчишь! И ты ничего не хочешь сказать Ваське Каширину?

Улыбался умильно и ждал. Но было пусто и в душе и вокруг. И не возвращался тихий и скорбный образ. Вспоминались ненужно и мучительно восковые горящие свечи, поп в рясе, нарисованная на стене икона, и как отец, сгибаясь и разгибаясь, молится и кладет поклоны, а сам смотрит исподлобья, молится ли Васька, не занялся ли баловством. И стало еще страшнее, чем до молитвы.

Исчезло все.

Безумие тяжко наползало. Сознание погасало, как потухающий разбросанный костер, холодело, как труп только что скончавшегося человека, у которого тепло еще в сердце, а ноги и руки уже окоченели. Еще раз, кроваво вспыхнув, сказала угасающая мысль, что он, Васька Каширин, может здесь сойти с ума, испытать муки, для которых нет названия, дойти до такого предела боли и страданий, до каких не доходило еще ни одно живое существо; что он может биться головою о стену, выколоть себе пальцем глаза, говорить и кричать, что ему угодно, уверять со слезами, что больше выносить он не может, — и ничего. Будет ничего.

И ничего наступило. Ноги, у которых свое сознание и своя жизнь, продолжали ходить и носить дрожащее мокрое тело. Руки, у которых свое сознание, тщетно пытались запахнуть расходящийся на груди халат и согреть дрожащее мокрое тело. Тело дрожало и зябло. Глаза смотрели. И это был почти что покой.

Но был еще момент дикого ужаса. Это когда вошли люди. Он даже не подумал, что это значит — пора ехать на казнь, а просто увидел людей и испугался, почти по-детски.

— Я не буду! Я не буду! — шептал он неслышно помертвевшими губами и тихо отодвигался в глубь камеры, как в детстве, когда поднимал руку отец.

— Надо ехать.

Говорят, ходят вокруг, что-то подают. Закрыл глаза, покачался — и тяжело начал собираться. Должно быть, сознание стало возвращаться: вдруг попросил у чиновника папиросу. И тот любезно раскрыл серебряный с декадентским рисунком портсигар.

10. Стены падают

Неизвестный, по прозвищу Вернер, был человек, уставший от жизни и от борьбы. Было время, когда он очень сильно любил жизнь, наслаждался театром, литературой, общением с людьми; одаренный прекрасной памятью и твердой волей, изучил в совершенстве несколько европейских языков, мог свободно выдавать себя за немца, француза или англичанина. По-немецки он говорил обычно с баварским акцентом, но мог, при желании, говорить, как настоящий, прирожденный берлинец. Любил хорошо одеваться, имел прекрасные манеры и один из всей своей братии, без риска быть узнанным, смел появляться на великосветских балах.

Но уже давно, невидимо для товарищей, в душе его зрело темное презрение к людям; и отчаяние там было, и тяжелая, почти смертельная усталость. По природе своей скорее математик, чем поэт, он не знал до сих пор вдохновения и экстаза и минутами чувствовал себя как безумец, который ищет квадратуру круга в лужах человеческой крови. Тот враг, с которым он ежедневно боролся, не мог внушить ему уважения к себе;

это была частая сеть глупости, предательства и лжи, грязных плевков, гнусных обманов. Последнее, что навсегда, казалось, уничтожило в нем желание жить, — было убийство провокатора, совершенное им по поручению организации. Убил спокойно, а когда увидел это мертвое, лживое, но теперь спокойное и все же жалкое человеческое лицо — вдруг перестал уважать себя и свое дело. Не то чтобы почувствовал раскаяние, а просто вдруг перестал ценить себя, стал для себя самого неинтересным, неважным, скучно-посторонним. Но из организации, как человек единой, нерасщепленной воли, не ушел и внешне остался тот же — только в глазах залегло что-то холодное и жуткое. И никому ничего не сказал.

Обладал он и еще одним редким свойством: как есть люди, которые никогда не знали головной боли, так он не знал, что такое страх. И когда другие боялись, относился к этому без осуждения, но и без особенного сочувствия, как к довольно распространенной болезни, которою сам, однако, ни разу не хворал. Товарищей своих, особенно Васю Каширина, он жалел; но это была холодная, почти официальная жалость, которой не чужды были, вероятно, и некоторые из судей.

Вернер понимал, что казнь не есть просто

смерть, а что-то другое, — но во всяком случае решил встретить ее спокойно, как нечто постороннее: жить до конца так, как будто ничего не произошло и не произойдет. Только этим он мог выразить высшее презрение к казни и сохранить последнюю, неотторжимую свободу духа. И на суде — и этому, пожалуй, не поверили бы даже товарищи, хорошо знавшие его холодное бесстрашие и надменность, — он думал не о смерти и не о жизни: он сосредоточенно, с глубочайшей и спокойной внимательностью, разыгрывал трудную шахматную партию. Превосходный игрок в шахматы, он с первого дня заключения начал эту партию и продолжал безостановочно. И приговор, присуждавший его к смертной казни через повешение, не сдвинул ни одной фигуры на невидимой доске.

Даже то, что партии кончить ему, видимо, не придется, не остановило его; и утро последнего дня, который оставался ему на земле, он начал с того, что исправил один вчерашний не совсем удачный ход. Сжав опущенные руки между колен, он долго сидел в неподвижности; потом встал и начал ходить, размышляя. Походка у него была особенная: он несколько клонил вперед верхнюю часть туловища и крепко и четко бил

землю каблуками — даже на сухой земле его шаги оставляли глубокий и приметный след. Тихо, одним дыханием, он насвистывал несложную итальянскую арийку, — это помогало думать.

Но дело в этот раз шло почему-то плохо. С неприятным чувством, что он совершил какую-то крупную, даже грубую ошибку, он несколько раз возвращался назад и проверял игру почти сначала. Ошибки не находилось, но чувство совершенной ошибки не только не уходило, а становилось все сильнее и досаднее. И вдруг явилась неожиданная и обидная мысль: не в том ли ошибка, что игрою в шахматы он хочет отвлечь свое внимание от казни и оградиться от того страха смерти, который будто бы неизбежен для осужденного?

— Нет, зачем же! — отвечал он холодно и спокойно закрыл невидимую доску. И с той же сосредоточенной внимательностью, с какою играл, будто отвечая на строгом экзамене, постарался дать отчет в ужасе и безвыходности своего положения: осмотрев камеру, стараясь не пропустить ничего, сосчитал часы, что остаются до казни, нарисовал себе приблизительную и довольно точную картину самой казни и пожал плечами.

— Ну? — ответил он кому-то полувопросом. —

Вот и все. Где же страх?

Страха действительно не было. И не только не было страха, но нарастало что-то как бы противоположное ему — чувство смутной, но огромной и смелой радости. И ошибка, все еще не найденная, уже не вызывала ни досады, ни раздражения, а также говорила громко о чем-то хорошем и неожиданном, словно счел он умершим близкого дорогого друга, а друг этот оказался жив и невредим и смеется.

Вернер снова пожал плечами и попробовал свой пульс: сердце билось учащенно, но крепко и ровно, с особенной звонкой силой. Еще раз внимательно, как новичок, впервые попавший в тюрьму, оглядел стены, запоры, привинченный к полу стул и подумал:

«Отчего мне так легко, радостно и свободно? Именно свободно. Подумаю о завтрашней казни — и как будто ее нет. Посмотрю на стены — как будто нет и стен. И так свободно, словно я не в тюрьме, а только что вышел из какой-то тюрьмы, в которой сидел всю жизнь. Что это?»

Начинали дрожать руки — невиданное для Вернера явление. Все яростнее билась мысль. Словно огненные языки вспыхивали в голове — наружу хотел пробиться огонь и осветить широко еще

ночную, еще темную даль. И вот пробился он наружу, и засияла широко озаренная даль.

Исчезла мутная усталость, томившая Вернера два последние года, и отпала от сердца мертвая, холодная, тяжелая змея с закрытыми глазами и мертвенно сомкнутым ртом — перед лицом смерти возвращалась, играя, прекрасная юность. И это было больше, чем прекрасная юность. С тем удивительным просветлением духа, которое в редкие минуты осеняет человека и поднимает его на высочайшие вершины созерцания, Вернер вдруг увидел и жизнь и смерть и поразился великолепием невиданного зрелища. Словно шел по узкому, как лезвие ножа, высочайшему горному хребту и на одну сторону видел жизнь, а на другую видел смерть, как два сверкающих, глубоких, прекрасных моря, сливающихся на горизонте в один безграничный широкий простор.

— Что это! Какое божественное зрелище! — медленно сказал он, привставая невольно и выпрямляясь, как в присутствии высшего существа. И, уничтожая стены, пространство и время стремительностью всепроникающего взора, он широко взглянул куда-то в глубь покидаемой жизни.

И новою предстала жизнь. Он не пытался, как

прежде, запечатлеть словами увиденное, да и не было таких слов на все еще бедном, все еще скудном человеческом языке. То маленькое, грязное и злое, что будило в нем презрение к людям и порою вызывало даже отвращение к виду человеческого лица, исчезло совершенно: так для человека, поднявшегося на воздушном шаре, исчезают сор и грязь тесных улиц покинутого городка, и красотою становится безобразное.

Бессознательным движением Вернер шагнул к столу и оперся на него правой рукою. Гордый и властный от природы, никогда еще не принимал он такой гордой, свободной и властной позы, не поворачивал шеи так, не глядел так, — ибо никогда еще не был свободен и властен, как здесь, в тюрьме, на расстоянии нескольких часов от казни и смерти.

И новыми предстали люди, по-новому милыми и прелестными показались они его просветленному взору. Паря над временем, он увидел ясно, как молодо человечество, еще вчера только зверем завывавшее в лесах; и то, что казалось ужасным в людях, непростительным и гадким, вдруг стало милым, — как мило в ребенке его неумение ходить походкою взрослого, его бессвязный лепет, блистающий искрами гениальности, его смеш-

ные промахи, ошибки и жестокие ушибы.

— Милые вы мои! — вдруг неожиданно улыбнулся Вернер и сразу потерял всю внушительность своей позы, снова стал арестантом, которому и тесно, и неудобно взаперти, и скучно немного от надоевшего пытливого глаза, торчащего в плоскости двери. И странно: почти внезапно он позабыл то, что увидел только что так выпукло и ясно; и еще страннее, — даже и вспомнить не пытался. Просто сел поудобнее, без обычной сухости в положении тела, и с чужой, не вернеровской, слабой и нежной улыбкой оглядел стены и решетки. Произошло еще новое, чего никогда не бывало с Вернером: вдруг заплакал.

— Милые товарищи мои! — шептал он и плакал горько. — Милые товарищи мои!

Какими тайными путями пришел он от чувства гордой и безграничной свободы к этой нежной и страстной жалости? Он не знал и не думал об этом. И жалел ли он их, своих милых товарищей, или что-то другое, еще более высокое и страстное таили в себе его слезы, — не знало и этого его вдруг воскресшее, зазеленевшее сердце. Плакал и шептал:

— Милые товарищи мои! Милые вы, товарищи мои!

В этом горько плачущем и сквозь слезы улыбающемся человеке никто не признал бы холодного и надменного, усталого и дерзкого Вернера — ни судьи, ни товарищи, ни он сам.

11. Их везут

Перед тем как рассаживать осужденных по каретам, их всех пятерых собрали в большой холодной комнате со сводчатым потолком, похожей на канцелярию, где больше не работают, или на пустую приемную. И позволили разговаривать между собою.

Но только Таня Ковальчук сразу воспользовалась позволением. Остальные молча и крепко пожали руки, холодные, как лед, и горячие, как огонь, — и молча, стараясь не глядеть друг на друга, столпились неловкой рассеянной кучкой. Теперь, когда они были вместе, они как бы совестились того, что каждый из них испытал в одиночестве; и глядеть боялись, чтобы не увидеть и не показать того нового, особенного, немножко стыдного, что каждый чувствовал или подозревал за собою.

Но раз, другой взглянули, улыбнулись и сразу почувствовали себя непринужденно и просто, как прежде: никакой перемены не произошло, а если и произошло что-то, то так ровно легло на всех, что для каждого в отдельности стало незаметно. Все говорили и двигались странно: по-

рывисто, толчками, или же слишком медленно, или же слишком быстро; иногда захлебывались словами и многократно повторяли их, иногда же не договаривали начатой фразы или считали ее сказанной — не замечали этого. Все щурились и с любопытством, не узнавая, рассматривали обыкновенные вещи, как люди, которые ходили в очках и вдруг сняли их; все часто и резко оборачивались назад, точно все время из-за спины их кто-то окликал и что-то показывал. Но не замечали они и этого. У Муси и Тани Ковальчук щеки и уши горели; Сергей вначале был несколько бледен, но скоро оправился и стал такой, как всегда.

И только на Василия обратили внимание. Даже среди них он был необыкновенен и страшен. Вернер всколыхнулся и тихо сказал Мусе с нежным беспокойством:

— Что это, Мусечка? Неужели он того, а? Что? Надо к нему.

Василий откуда-то издали, точно не узнавая, посмотрел на Вернера и опустил глаза.

— Вася, что это у тебя с волосами, а? Да ты что? Ничего, брат, ничего, ничего, сейчас кончится. Надо держаться, надо, надо.

Василий молчал. И когда начало уже казаться, что он и совсем ничего не скажет, пришел глу-

хой, запоздалый, страшно далекий ответ: так на многие зовы могла бы ответить могила:

— Да я ничего. Я держусь.

И повторил:

— Я держусь.

Вернер обрадовался.

— Вот, вот. Молодец. Так, так.

Но встретил темный, отяжелевший, из глубочайшей дали устремленный взор и подумал с мгновенною тоскою: «Откуда он смотрит? Откуда он говорит?» И с глубокой нежностью, как говорят только могиле, сказал:

— Вася, ты слышишь? Я очень люблю тебя.

— И я тебя очень люблю, — ответил, тяжело ворочаясь, язык.

Вдруг Муся взяла Вернера за руку и, выражая удивление, усиленно, как актриса на сцене, сказала:

— Вернер, что с тобой? Ты сказал: люблю? Ты никогда никому не говорил: люблю. И отчего ты весь такой… светлый и мягкий? А, что?

— А, что?

И, как актер, также усиленно выражая то, что он чувствовал, Вернер крепко сжал Мусину руку:

— Да, я теперь очень люблю. Не говори другим, не надо, совестно, но я очень люблю.

Встретились их взоры и вспыхнули ярко, и все погасло кругом: так в мгновенном блеске молнии гаснут все иные огни, и бросает на землю тень само желтое, тяжелое пламя.

— Да, — сказала Муся. — Да, Вернер.

— Да, — ответил он. — Да, Муся, да!

Было понято нечто и утверждено ими непоколебимо. И, светясь взорами, Вернер всколыхнулся снова и быстро шагнул к Сергею.

— Сережа!

Но ответила Таня Ковальчук. В восторге, почти плача от материнской гордости, она неистово дергала Сергея за рукав.

— Вернер, ты послушай! Я тут о нем плачу, я убиваюсь, а он — гимнастикой занимается!

— По Мюллеру? — улыбнулся Вернер.

Сергей сконфуженно нахмурился:

— Ты напрасно смеешься, Вернер. Я окончательно убедился…

Все рассмеялись. В общении друг с другом черпая крепость и силу, постепенно становились они такими, как прежде, но не замечали и этого, думали, что всё одни и те же. Вдруг Вернер оборвал смех и с чрезвычайною серьезностью сказал Сергею:

— Ты прав, Сережа. Ты совершенно прав.

— Нет, ты пойми, — обрадовался Головин. — Конечно, мы…

Но тут предложили ехать. И были так любезны, что разрешили рассесться парами, как хотят. И вообще были очень, даже до чрезмерности любезны: не то старались выказать свое человеческое отношение, не то показать, что их тут совсем нет, а все делается само собою. Но были бледны.

— Ты, Муся, с ним, — показал Вернер на Василия, стоявшего неподвижно.

— Понимаю, — кивнула Муся головою. — А ты?

— Я? Таня с Сергеем, ты с Васей… Я один. Это ничего, я ведь могу, ты знаешь.

Когда вышли во двор, влажная темнота мягко, но тепло и сильно ударила в лицо, в глаза, захватила дыхание, вдруг очищающе и нежно пронизала все вздрогнувшее тело. Трудно было поверить, что это удивительное — просто ветер весенний, теплый влажный ветер. И настоящая, удивительная весенняя ночь запахла тающим снегом, — безграничною ширью, зазвенела капелями. Хлопотливо и часто, догоняя друг друга, падали быстрые капельки и дружно чеканили звонкую песню; но вдруг собьется одна с голоса, и все запутается в веселом плеске, в торопливой неразберихе. А потом ударит твердо большая,

строгая капля, и снова четко и звонко чеканится торопливая весенняя песня. И над городом, поверх крепостных крыш, стояло бледное зарево от электрических огней.

— У-ах! — широко вздохнул Сергей Головин и задержал дыхание, точно жалея выпускать из легких такой свежий и прекрасный воздух.

— Давно такая погода? — осведомился Вернер. — Совсем весна.

— Второй только день, — был предупредительный и вежливый ответ. — А то все больше морозы.

Одна за другою мягко подкатывали темные кареты, забирали по двое, уходили в темноту, туда, где качался под воротами фонарь. Серыми силуэтами окружали каждый экипаж конвойные, и подковы их лошадей чокали звонко или хлябали по мокрому снегу.

Когда Вернер, согнувшись, намеревался лезть в карету, жандарм сказал неопределенно:

— Тут с вами еще один едет.

Вернер удивился:

— Куда? Куда же он едет? Ах, да! Еще один? Кто же это?

Солдат молчал. Действительно, в углу кареты, в темноте, прижималось что-то маленькое, непо-

движное, но живое — при косом луче от фонаря блеснул открытый глаз. Усаживаясь, Вернер толкнул ногою его колено.

— Извините, товарищ.

Тот не ответил. И только, когда тронулась карета, вдруг спросил ломаным русским языком, запинаясь:

— Кто вы?

— Я Вернер, присужден к повешению за покушение на NN. А вы?

— Я — Янсон. Меня не надо вешать.

Они ехали, чтобы через два часа стать перед лицом неразгаданной великой тайны, из жизни уйти в смерть, — и знакомились. В двух плоскостях одновременно шли жизнь и смерть, и до конца, до самых смешных и нелепых мелочей оставалась жизнью жизнь.

— А что вы сделали, Янсон?

— Я хозяина резал ножом. Деньги крал.

По голосу казалось, что Янсон засыпает. В темноте Вернер нашел его вялую руку и пожал. Янсон так же вяло отобрал руку.

— Тебе страшно? — спросил Вернер.

— Я не хочу.

Они замолчали. Вернер снова нашел руку эстонца и крепко зажал между своими сухими и

горячими ладонями. Лежала она неподвижно, дощечкой, но отобрать ее Янсон больше не пытался.

В карете было тесно и душно, пахло солдатским сукном, затхлостью, навозом и кожей от мокрых сапог. Молоденький жандарм, сидевший против Вернера, горячо дышал на него смешанным запахом луку и дешевого табаку. Но в какие-то щели пробивался острый и свежий воздух, и от этого в маленьком, душном, движущемся ящике весна чувствовалась еще сильнее, чем снаружи. Карета заворачивала то направо, то налево, то как будто возвращалась назад; казалось иногда, что уже целые часы они кружатся зачем-то на одном месте. Вначале сквозь опущенные густые занавески в окнах пробивался голубоватый электрический свет; потом вдруг, после одного поворота потемнело, и только по этому можно было догадаться, что они свернули на глухие окраинные улицы и приближаются к С—скому вокзалу. Иногда при крутых заворотах живое согнутое колено Вернера дружески билось о такое же живое согнутое колено жандарма, и трудно было поверить в казнь.

— Куда мы едем? — спросил вдруг Янсон.

У него слегка кружилась голова от продолжительного верчения в темном ящике и слегка

тошнило.

Вернер ответил и крепче сжал руку эстонца. Хотелось сказать что-то особенно дружеское, ласковое этому маленькому сонному человеку, и уже любил он его так, как никого в жизни.

— Милый! Тебе, кажется, неудобно сидеть. Подвигайся сюда, ко мне.

Янсон помолчал и ответил:

— Ну, спасибо. Мне хорошо. А тебя тоже будут вешать?

— Тоже! — неожиданно весело, почти со смехом ответил Вернер и как-то особенно развязно и легко махнул рукою. Точно речь шла о какой-то нелепой и вздорной шутке, которую хотят проделать над ними милые, но страшно смешливые люди.

— Жена есть? — спросил Янсон.

— Нету. Какая там жена! Я один.

— Я тоже один. Одна, — поправился Янсон, подумав.

И у Вернера начинала кружиться голова. И казалось минутами, что они едут на какой-то праздник; странно, но почти все ехавшие на казнь ощущали то же и, наряду с тоскою и ужасом, радовались смутно тому необыкновенному, что сейчас произойдет. Упивалась действитель-

ность безумием, и призраки родила смерть, сочетавшаяся с жизнью. Очень возможно, что на домах развевались флаги.

— Вот и приехали! — сказал Вернер любопытно и весело, когда карета остановилась, и выпрыгнул легко. Но с Янсоном дело затянулось: молча и как-то очень вяло он упирался и не хотел выходить. Схватится за ручку — жандарм разожмет бессильные пальцы и отдерет руку; схватится за угол, за дверь, за высокое колесо — и тотчас же, при слабом усилии со стороны жандарма, отпустит. Даже не хватался, а скорее сонно прилипал ко всякому предмету молчаливый Янсон — и отдирался легко и без усилий. Наконец встал.

Флагов не было. По-ночному был темен, пуст и безжизнен вокзал; пассажирские поезда уже не ходили, а для того поезда, который на пути безмолвно ожидал этих пассажиров, не нужно было ни ярких огней, ни суеты. И вдруг Вернеру стало скучно. Не страшно, не тоскливо, — а скучно огромной, тягучей, томительной скукой, от которой хочется куда-то уйти, лечь, закрыть крепко глаза. Вернер потянулся и продолжительно зевнул. Потянулся и быстро, несколько раз подряд зевнул и Янсон.

— Хоть бы поскорее! — сказал Вернер устало.

Янсон молчал и ежился.

Когда на безлюдной платформе, оцепленной солдатами, осужденные двигались к тускло освещенным вагонам, Вернер очутился возле Сергея Головина; и тот, показав куда-то в сторону рукою, начал говорить, и было ясно слышно только слово «фонарь», а окончание утонуло в продолжительной и усталой зевоте.

— Ты что говоришь? — спросил Вернер, отвечая также зевотой.

— Фонарь. Лампа в фонаре коптит, — сказал Сергей.

Вернер оглянулся: действительно, в фонаре сильно коптела лампа, и уже почернели вверху стекла.

— Да, коптит.

И вдруг подумал: «А какое, впрочем, мне дело, что лампа коптит, когда…» То же, очевидно, подумал и Сергей: быстро взглянул на Вернера и отвернулся. Но зевать они оба перестали.

Все до вагонов шли сами, и только Янсона пришлось вести под руки: сперва он упирался ногами и точно приклеивал подошвы к доскам платформы, потом подогнул колена и повис в руках жандармов, ноги его волоклись, как у сильно пьяного, и носки скребли дерево. И в дверь его

пропихивали долго, но молча.

Двигался сам и Василий Каширин, смутно копируя движения товарищей, — все делал, как они. Но, всходя на площадку в вагоне, он оступился, и жандарм взял его за локоть, чтоб поддержать, — Василий затрясся и крикнул пронзительно, отдергивая руку:

— Ай!

— Вася, что с тобою? — рванулся к нему Вернер.

Василий молчал и трясся тяжело. Смущенный и даже огорченный жандарм объяснил:

— Я хотел их поддержать, а они…

— Пойдем, Вася, я поддержу тебя, — сказал Вернер и хотел взять его за руку. Но Василий отдернул руку опять и еще громче крикнул:

— Ай!

— Вася, это я, Вернер.

— Я знаю. Не трогай меня. Я сам.

И, продолжая трястись, сам вошел в вагон и сел в углу. Наклонившись к Мусе, Вернер тихо спросил ее, указывая глазами на Василия:

— Ну как?

— Плохо, — так же тихо ответила Муся. — Он уже умер. Вернер, скажи мне, разве есть смерть?

— Не знаю, Муся, но думаю, что нет, — ответил

Вернер серьезно и вдумчиво.

— Я так и думала. А он? Я измучилась с ним в карете, я точно с мертвецом ехала.

— Не знаю, Муся. Может быть, для некоторых смерть и есть. Пока, а потом совсем не будет. Вот и для меня смерть была, а теперь ее нет.

Побледневшие несколько щеки Муси вспыхнули:

— Была, Вернер? Была?

— Была. Теперь нет. Как для тебя.

В дверях вагона послышался шум. Громко стуча каблуками, громко дыша и отплевываясь, вошел Мишка Цыганок. Метнул глазами и остановился упрямо.

— Тут местов нету, жандарм! — крикнул он утомленному, сердито глядевшему жандарму. — Ты мне давай так, чтобы свободно, а то не поеду, вешай тут, на фонаре. Карету тоже дали, сукины дети, — разве это карета? Чертова требуха, а не карета!

Но вдруг наклонил голову, вытянул шею и так пошел вперед, к другим. Из растрепанной рамки волос и бороды черные глаза его глядели дико и остро, с несколько безумным выражением.

— А! Господа! — протянул он. — Вот оно что. Здравствуй, барин.

Он ткнул Вернеру руку и сел против него. И, наклонившись близко, подмигнул одним глазом и быстро провел рукою по шее.

— Тоже? А?

— Тоже! — улыбнулся Вернер.

— Да неужто всех?

— Всех.

— Ого! — оскалился Цыганок и быстро ощупал глазами всех, на мгновение дольше остановился на Мусе и Янсоне. И снова подмигнул Вернеру:

— Министра?

— Министра. А ты?

— Я, барин, по другому делу. Куда нам до министра! Я, барин, разбойник, вот я кто. Душегуб. Ничего, барин, потеснись, не своей волей в компанию затесался. На том свете всем места хватит.

Он дико, из-под взлохматившихся волос, обвел всех одним стремительным, недоверчивым взглядом. Но все смотрели на него молча и серьезно и даже с видимым участием. Оскалился и быстро несколько раз похлопал Вернера по коленке.

— Так-то, барин! Как в песне поется: не шуми ты, мать, зеленая дубравушка.

— Зачем ты зовешь меня барином, когда мы все…

— Верно, — с удовольствием согласился Цыганок. — Какой ты барин, когда рядом со мной висеть будешь! Вот он кто барин-то, — ткнул он пальцем на молчаливого жандарма. — Э, а вот энтот-то ваш того, не хуже нашего, — указал он глазами на Василия. — Барин, а барин, боишься, а?

— Ничего, — ответил туго ворочающийся язык.

— Ну уж какой там ничего. Да ты не стыдись, тут стыдиться нечего. Это собака только хвостом виляет да зубы скалит, как ее вешать ведут, а ты ведь человек. А этот кто, лопоухий? Этот не из ваших?

Он быстро перескакивал глазами и непрестанно, с шипением сплевывал набегающую сладкую слюну. Янсон, неподвижным комочком прижавшийся в углу, слегка шевельнул крыльями своей облезлой меховой шапки, но ничего не ответил. Ответил за него Вернер:

— Хозяина зарезал.

— Господи! — удивился Цыганок. — И как таким позволяют людей резать!

Уже давно, искоса, Цыганок приглядывался к Мусе и теперь, быстро повернувшись, резко и прямо уставился на нее.

— Барышня, а барышня! Вы что же это! И щечки

розовенькие, и смеется. Гляди, она вправду смеется, — схватил он Вернера за колено цепкими, точно железными пальцами. — Гляди, гляди!

Покраснев, с несколько смущенной улыбкой, Муся также смотрела в его острые, несколько безумные, тяжело и дико вопрошающие глаза.

Все молчали.

Дробно и деловито постукивали колеса, маленькие вагончики попрыгивали по узеньким рельсам и старательно бежали. Вот на закруглении или у переезда жидко и старательно засвистел паровозик — машинист боялся кого-нибудь задавить. И дико было подумать, что в повешение людей вносится так много обычной человеческой аккуратности, старания, деловитости, что самое безумное на земле дело совершается с таким простым, разумным видом. Бежали вагоны, в них сидели люди, как всегда сидят, и ехали, как они обычно ездят; а потом будет остановка, как всегда — «поезд стоит пять минут».

И тут наступит смерть — вечность — великая тайна.

12. Их привезли

Старательно бежали вагончики.

Несколько лет подряд Сергей Головин жил с родными на даче по этой самой дороге, часто ездил днем и ночью и знал ее хорошо. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что и теперь он возвращался домой — запоздал в городе у знакомых и возвращается с последним поездом.

— Теперь скоро, — сказал он, открыв глаза и взглянув в темное, забранное решеткой, ничего не говорящее окно.

Никто не пошевельнулся, не ответил, и только Цыганок быстро, раз за разом, сплюнул сладкую слюну. И начал бегать глазами по вагону, ощупывать окна, двери, солдат.

— Холодно, — сказал Василий Каширин тугими, точно и вправду замерзшими губами; и вышло у него это слово так: хо-а-дна.

Таня Ковальчук засуетилась.

— На платок, повяжи шею. Платок очень теплый.

— Шею? — неожиданно спросил Сергей и испугался вопроса.

Но так как и все подумали то же, то никто его

не слыхал, — как будто никто ничего не сказал или все сразу сказали одно и то же слово.

— Ничего, Вася, повяжи, повяжи, теплее будет, — посоветовал Вернер, потом обернулся к Янсону и нежно спросил: — Милый, а тебе не холодно, а?

— Вернер, может быть, он хочет курить. Товарищ, вы, быть может, хотите курить? — спросила Муся. — У нас есть.

— Хочу!

— Дай ему папиросу, Сережа, — обрадовался Вернер.

Но Сергей уже доставал папиросу. И все с любовью смотрели, как пальцы Янсона брали папиросу, как горела спичка и изо рта Янсона вышел синий дымок.

— Ну, спасибо, — сказал Янсон. — Хорошо.

— Как странно! — сказал Сергей.

— Что странно? — обернулся Вернер. — Что странно?

— Да вот: папироса.

Он держал папиросу, обыкновенную папиросу, между обыкновенных живых пальцев и бледный, с удивлением, даже как будто с ужасом смотрел на нее. И все уставились глазами на тоненькую трубочку, из конца которой крутящейся голубой

ленточкой бежал дымок, относимый в сторону дыханием, и темнел, набираясь, пепел. Потухла.

— Потухла, — сказала Таня.

— Да, потухла.

— Ну и к черту! — сказал Вернер, нахмурившись и с беспокойством глядя на Янсона, у которого рука с папиросой висела, как мертвая. Вдруг Цыганок быстро повернулся, близко, лицом к лицу, наклонился к Вернеру и, выворачивая белки, как лошадь, прошептал:

— Барин, а что, если бы конвойных того… а? Попробовать?

— Не надо, — так же шепотом ответил Вернер. — Выпей до конца.

— А для ча? В драке-то оно все веселее, а? Я ему, он мне, и сам не заметил, как порешили. Будто и не помирал.

— Нет, не надо, — сказал Вернер и обернулся к Янсону: — Милый, отчего не куришь?

Вдруг дряблое лицо Янсона жалко сморщилось: словно кто-то дернул сразу за ниточку, приводящую в движение морщины, и все они перекосились. И, как сквозь сон, Янсон захныкал, без слез, сухим, почти притворным голосом:

— Я не хочу курить. Аг-ха! Аг-ха! Аг-ха! Меня не надо вешать. Аг-ха, аг-ха, аг-ха!

Около него засуетились. Таня Ковальчук, обильно плача, гладила его по рукаву и поправляла свисавшие крылья облезлой шапки:

— Родненький ты мой! Миленький, да не плачь, да родненький же ты мой! Да несчастненький же ты мой!

Муся смотрела в сторону. Цыганок поймал ее взгляд и оскалился.

— Чудак его благородие! Чай пьет, а пузо холодное, — сказал он с коротким смешком. Но у самого лицо стало иссиня-черное, как чугун, и ляскали большие желтые зубы.

Вдруг вагончики дрогнули и явственно замедлили ход. Все, кроме Янсона и Каширина, привстали и так же быстро сели опять.

— Станция! — сказал Сергей.

Как будто сразу из вагона выкачали весь воздух: так трудно стало дышать. Выросшее сердце распирало грудь, становилось поперек горла, металось безумно — кричало в ужасе своим кроваво-полным голосом. А глаза смотрели вниз на подрагивающий пол, а уши слушали, как все медленнее вертелись колеса — скользили — опять вертелись — и вдруг стали.

Поезд остановился.

Тут наступил сон. Не то чтобы было очень

страшно, а призрачно, беспамятно и как-то чуждо: сам грезящий оставался в стороне, а только призрак его бестелесно двигался, говорил беззвучно, страдал без страдания. Во сне выходили из вагона, разбивались на пары, нюхали особенно свежий, лесной, весенний воздух. Во сне тупо и бессильно сопротивлялся Янсон, и молча выволакивали его из вагона.

Спустились со ступенек.

— Разве пешком? — спросил кто-то почти весело.

— Тут недалеко, — ответил другой кто-то так же весело.

Потом большой, черной, молчаливой толпою шли среди леса по плохо укатанной, мокрой и мягкой весенней дороге. Из леса, от снега перло свежим, крепким воздухом; нога скользила, иногда проваливалась в снег, и руки невольно хватались за товарища; и, громко дыша, трудно, по цельному снегу двигались по бокам конвойные. Чей-то голос сердито сказал:

— Дороги не могли прочистить. Кувыркайся тут в снегу.

Кто-то виновато оправдывался:

— Чистили, ваше благородие. Ростепель только, ничего не поделаешь.

Сознание возвращалось, но неполно, отрывками, странными кусочками. То вдруг мысль деловито подтверждала:

«Действительно, не могли дороги прочистить».

То снова угасало все, и оставалось одно только обоняние: нестерпимо яркий запах воздуха, леса, тающего снега; то необыкновенно ясно становилось все — и лес, и ночь, и дорога, и то, что их сейчас, сию минуту повесят. Обрывками мелькал сдержанный, шепотом, разговор:

— Скоро четыре.

— Говорил: рано выезжаем.

— Светает в пять.

— Ну да, в пять. Вот и нужно было…

В темноте, на полянке, остановились. В некотором отдалении, за редкими, прозрачными по-зимнему деревьями, молчаливо двигались два фонарика: там стояли виселицы.

— Калошу потерял, — сказал Сергей Головин.

— Ну? — не понял Вернер.

— Калошу потерял. Холодно.

— А где Василий?

— Не знаю. Вон стоит.

Темный и неподвижный стоял Василий.

— А где Муся?

— Я здесь. Это ты, Вернер?

Начали оглядываться, избегая смотреть в ту сторону, где молчаливо и страшно понятно продолжали двигаться фонарики. Налево обнаженный лес как будто редел, проглядывало что-то большое, белое, плоское. И оттуда шел влажный ветер.

— Море, — сказал Сергей Головин, внюхиваясь и ловя ртом воздух. — Там море.

Муся звучно отозвалась:

— Мою любовь, широкую, как море!

— Ты что, Муся?

— Мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега.

— Мою любовь, широкую, как море, — подчиняясь звуку голоса и словам, повторил задумчиво Сергей.

— Мою любовь, широкую, как море… — повторил Вернер и вдруг весело удивился: — Муська! Как ты еще молода!

Вдруг близко, у самого уха Вернера, послышался горячий, задыхающийся шепот Цыганка:

— Барин, а барин. Лес-то, а? Господи, что же это! А там это что, где фонарики, вешалка, что ли? Что же это, а?

Вернер взглянул: Цыганок маялся предсмертным томлением.

— Надо проститься… — сказала Таня Ковальчук.

— Погоди, еще приговор будут читать, — ответил Вернер. — А где Янсон?

Янсон лежал на снегу, и возле него с чем-то возились. Вдруг остро запахло нашатырным спиртом.

— Ну что там, доктор? Вы скоро? — спросил кто-то нетерпеливо.

— Ничего, простой обморок. Потрите ему уши снегом. Он уже отходит, можно читать.

Свет потайного фонарика упал на бумагу и белые без перчаток руки. И то и другое немного дрожало; дрожал и голос:

— Господа, может быть, приговора не читать, ведь вы его знаете? Как вы?

— Не читать, — за всех ответил Вернер, и фонарик быстро погас.

От священника также все отказались. И темный широкий силуэт молча и быстро отодвинулся вглубь и исчез. По-видимому, рассвет наступал: снег побелел, потемнели фигуры людей, и лес стал реже, печальнее и проще.

— Господа, идти надо по двое. В пары становитесь как хотите, но только прошу поторопиться.

Вернер указал на Янсона, который уже стоял на

ногах, поддерживаемый двумя жандармами:

— Я с ним. А ты, Сережа, бери Василия. Идите вперед.

— Хорошо.

— Мы с тобою, Мусечка? — спросила Ковальчук. — Ну, поцелуемся.

Быстро перецеловались. Цыганок целовал крепко, так что чувствовались зубы; Янсон мягко и вяло, полураскрытым ртом, — впрочем, он, кажется, и не понимал, что делает. Когда Сергей Головин и Каширин уже отошли на несколько шагов, Каширин вдруг остановился и сказал громко и отчетливо, но совершенно чужим, незнакомым голосом:

— Прощайте, товарищи!

— Прощай, товарищ! — крикнули ему.

Ушли. Стало тихо. Фонарики за деревьями остановились неподвижно. Ждали вскрика, голоса, какого-нибудь шума, — но было тихо там, как и здесь, и неподвижно желтели фонарики.

— Ах, боже мой! — дико прохрипел кто-то. Оглянулись: это в предсмертном томлении маялся Цыганок. — Вешают!

Отвернулись, и снова стало тихо. Цыганок маялся, хватая руками воздух:

— Как же это так! Господа, а? Мне-то одному,

что ль? В компании-то оно веселее. Господа! Что же это?

Схватил Вернера за руку сжимающими и распадающимися, точно играющими пальцами:

— Барин, милый, хоть ты со мной, а? Сделай милость, не откажи!

Вернер, страдая, ответил:

— Не могу, милый. Я с ним.

— Ах ты, боже мой! Одному, значит. Как же это? Господи!

Муся шагнула вперед и тихо сказала:

— Пойдемте со мной.

Цыганок отшатнулся и дико вывоpотил на нее белки:

— С тобою?

— Да.

— Ишь ты. Маленькая какая! А не боишься? А то уж я один лучше. Чего там!

— Нет, не боюсь.

Цыганок оскалился.

— Ишь ты! А я ведь разбойник. Не брезгаешь? А то лучше не надо. Я сердиться на тебя не буду.

Муся молчала, и в слабом озарении рассвета лицо ее казалось бледным и загадочным. Потом вдруг быстро подошла к Цыганку и, закинув руки ему за шею, крепко поцеловала его в губы. Он

взял ее пальцами за плечи, отодвинул от себя, потряс — и, громко чмокая, поцеловал в губы, в нос, в глаза.

— Идем!

Вдруг ближайший солдат как-то покачнулся и разжал руки, выпустив ружье. Но не наклонился, чтобы поднять его, а постоял мгновение неподвижно, повернулся круто и, как слепой, зашагал в лес по цельному снегу.

— Куда ты? — испуганно шепнул другой. — Стой!

Но тот все так же молча и трудно лез по глубокому снегу; должно быть, наткнулся на что-нибудь, взмахнул руками и упал лицом вниз. Так и остался лежать.

— Ружье подыми, кислая шерсть! А то я подыму! — грозно сказал Цыганок. — Службы не знаешь!

Вновь хлопотливо забегали фонарики. Наступала очередь Вернера и Янсона.

— Прощай, барин! — громко сказал Цыганок. — На том свете знакомы будем, увидишь когда, не отворачивайся. Да водицы когда испить принеси — жарко мне там будет.

— Прощай.

— Я не хочу, — сказал Янсон вяло.

Но Вернер взял его за руку, и несколько шагов эстонец прошел сам; потом видно было — он остановился и упал на снег. Над ним нагнулись, подняли его и понесли, а он слабо барахтался в несущих его руках. Отчего он не кричал? Вероятно, забыл, что у него есть голос.

И вновь неподвижно остановились желтеющие фонарики.

— А я, значит, Мусечка, одна, — печально сказала Таня Ковальчук. — Вместе жили, и вот…

— Танечка, милая…

Но горячо вступился Цыганок. Держа Мусю за руку, словно боясь, что еще могут отнять, он заговорил быстро и деловито:

— Ах, барышня! Тебе одной можно, ты чистая душа, ты куда хочешь, одна можешь. Поняла? А я нет. Яко разбойника… понимаешь? Невозможно мне одному. Ты куда, скажут, лезешь, душегуб? Я ведь и коней воровал, ей-богу! А с нею я, как… как со младенцем, понимаешь. Не поняла?

— Поняла. Что же, идите. Дай я тебя еще поцелую, Мусечка.

— Поцелуйтесь, поцелуйтесь, — поощрительно сказал женщинам Цыганок. — Дело ваше такое, нужно проститься хорошо.

Двинулись Муся и Цыганок. Женщина шла осто-

рожно, оскользаясь и, по привычке, поддерживая юбки; и крепко под руку, остерегая и нащупывая ногою дорогу, вел ее к смерти мужчина.

Огни остановились. Тихо и пусто было вокруг Тани Ковальчук. Молчали солдаты, все серые в бесцветном и тихом свете начинающегося дня.

— Одна я, — вдруг заговорила Таня и вздохнула. — Умер Сережа, умер и Вернер и Вася. Одна я. Солдатики, а солдатики, одна я. Одна…

Над морем всходило солнце.

Складывали в ящик трупы. Потом повезли. С вытянутыми шеями, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим синим языком, который, как неведомый ужасный цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной, — плыли трупы назад, по той же дороге, по которой сами, живые, пришли сюда. И так же был мягок и пахуч весенний снег, и так же свеж и крепок весенний воздух. И чернела в снегу потерянная Сергеем мокрая, стоптанная калоша.

Так люди приветствовали восходящее солнце.

1908 г.

Иван Иванович

I

На Иване Ивановиче было новое пальто — совершенно новое, великолепного сукна, серого, с нежным серебристым оттенком. Ему не советовали брать такой цвет — марок и вообще не практичен, но он был молодой человек и желал быть красивым. И он был красив, и на душе было радостно и гордо; и если нельзя было вообразить себя генералом или гвардейским офицером, то, во всяком случае, ясно чувствовалось, что он лучший изо всех околоточных надзирателей, какие есть в Москве и, быть может, даже в других городах. Сзади, в двух шагах за Иваном Ивановичем, шли трое городовых в черных шинелях, башлыках и с ружьями. Ружей они не умели держать, они им мешали и только нагоняли страх; и лица были у них мрачные, недовольные, а шаги они делали короткие, точно сберегали пространство и старались сохранить запас его позади себя. Они боялись дружинников. Но Иван Иванович не боялся и шел молодцевато, с легким вывертом. В городе уже стреляли, но в ихнем участке было тихо, и только в двух-трех местах достраивали запоздалые баррикады. И на нем было новое

пальто.

Из-за угла показалась чья-то голова и скрылась; и вдруг сразу высыпала черная кучка народу, и из середины ее кто-то выстрелил прямо в Ивана Ивановича, — как будто вся черная кучка сказала ему: ах! Городовые убежали, Иван Иванович тоже повернулся, чтобы бежать, но сзади крикнули:

— Стой! Застрелим!

Ноги от страху онемели, затряслись, и он остановился. От всего себя он чувствовал одну только спину, неподвижную, серую, широкую, как глухой забор, мимо которого не пролетит ни одна пуля. И повернуть ее он не мог, так спиною и встретил дружинников, которые сзади несколькими парами рук схватили его за плечи, за руки и даже за шиворот. Повернули.

— Как фамилия? — спросил один. В руке у него был револьвер браунинг.

— Товарищи! — сказал Иван Иванович.

— Ну-ну! — грозно окрикнул кто-то.

— Граждане, — поправился Иван Иванович. Некоторые засмеялись, но тот суровый, что окрикнул, так же сурово и с отрицанием сказал:

— Дай ему по харе, чтобы не брехал. Дурак!

Иван Иванович закрыл глаза, но его не ударили, а снова спросили о фамилии.

— Авдеев, — солгал он.

Дружинники переглянулись: такого, с такой фамилией не знали, — ничем не был замечателен. Обыскали его, но ничего не нашли в новеньких, чистых карманах, — ни бумаг, ни писем; только в одном нашли гребешочек и зеркальце и без сожаления бросили их в снег. Иван Иванович приободрился и сам помогал вывертывать карманы, а вначале не мог.

— А револьвер-то? — сказал кто-то. — Забыли?

— Давай револьвер. Живее!

Околоточный торопливо начал отстегивать кобуру, исподлобья дружелюбно оглядел дружинников и улыбнулся.

— Сделайте одолжение. Но только разве это оружие? Вот у вас револьверы настоящие, а у нас что, казенные, в двух шагах собаку не застрелишь. Честное слово! Извольте. Да шашку-то, шашку не забудьте, или как она называется — селедку.

Но шашка была свеже отпущена, остра, и на шутку Ивана Ивановича никто не отозвался. Один из дружинников, молодой, краснощекий, сияющий, схватил шашку и перепоясал ее через плечо.

— Вот так!

— Оставь, Василий! Зачем на глаза лезть!

— Ну вот! Пригодится.

Иван Иванович тоже покачал головой и скромно спросил:

— Можно идти теперь?

— Что?! — удивился тот, суровый. И удивление его было так тяжело, зловеще и страшно, что снова смертельный ужас охватил околоточного, и снег перед его глазами точно почернел, а вокруг черных фигур появились какие-то странные, светлые ореолы. И все закачалось.

— Неужели? — нелепо сказал он, и рот его чему-то смеялся, а побелевшие глаза вылезали из-подо лба и дико таращились.

— Не стоит, — сказал первый, тот, что допрашивал Ивана Ивановича. Но суровый настаивал.

— А по-моему, стоит. Всех их стоит. А если вам уж так его жалко, так давайте я. Ну-ка, ты, пойдем, поговорим!

— Не стоит! — поддержали другие. — Ну его! Оставьте его, Петров.

Петров сердито пожал плечами, посмотрел прямо в вытаращенные глаза околоточного и отошел в сторону.

— Делайте как хотите, — равнодушно сказал он.

— Господи! — сказал Иван Иванович, провожая

его глазами, и перекрестился. Посмотрел на всех и еще раз перекрестился. — Ну и человек. Вот так человек!

Дружинники собрались в кружок и стали советоваться, как поступить с околоточным. Это был первый их пленный, и они не знали, что с ним делать. И молодой, сияющий, с шашкой через плечо, засмеялся, хлопнул Ивана Ивановича по плечу и предложил:

— Пусть-ка идет строить баррикаду. Народу у нас мало, а он парень здоровый. Верно? — И он подмигнул Ивану Ивановичу.

— Как же это? — удивился тот. — В моем положении, и вдруг…

— Вы, быть может, предпочитаете поговорить с товарищем? — вежливо осведомился первый дружинник, указывая на Петрова.

— Нет уж, бог с ним! — отмахнулся рукою околоточный; дружинник засмеялся, и только Петров нахмурился еще больше и отвернулся. — Я ведь, собственно, ничего не имею. Помочь так помочь, с большим удовольствием. Вот только костюм у меня неподходящий…

— Мы вас не уговариваем…

— Да нет же, господи, я с большим удовольствием. Пальто вот действительно жалко, вы сами

понимаете, — а я что же!

Он говорил развязно и с большим достоинством, но страх не покидал его и маленькой мышкой бегал по телу, а минутами воздух точно застревал в груди и земля уходила из-под ног. Хотелось скорее к баррикаде, казалось, что когда он возьмется за работу, никто уже не посмеет его тронуть. Дорогою — нужно было пройти с четверть версты — он старался быть дальше от Петрова и ближе к молодому, сияющему, и даже вступил с последним в беседу:

— Вот говорят, полицейский, такой-сякой, крючок и прочее. А только как же без полиции, сами рассудите. Когда Господь Бог изгнал из рая Адама и Еву, кого он у дверей поставил?.. Вот оно откуда еще началось!

— Товарищ, вы слышите? — смеясь, окликнул молодой Петрова.

Петров остановился и, не глядя на товарища, сказал околоточному:

— Ты свое остроумие оставь. Они тебя помиловали, а я тебя не миловал. Услышу твой голос, видишь, — он показал браунинг, — так в голову и всажу. Гадина!

Иван Иванович обиженно замолчал и всю дорогу шел молча, скучный и подавленный.

Оглядываться он боялся, и на себя поглядеть как следует боялся, и было страшно и за себя и за пальто, которое он разорвет или испачкает. Так и шел, стараясь только не ускорять и не замедлять шага против остальных, а они шли неровно, то быстро, то тихо, как нарочно. Один раз молодой, сияющий потихоньку от Петрова подмигнул ему, но Иван Иванович угрюмо отвернулся: ему было очень нехорошо. А молодой нагнал Петрова и тихо сказал ему:

— Напрасно вы так, товарищ. Он, ей-богу, ничего. Конечно, невежественный, темный, а когда-нибудь и он поймет… Все поймут.

Петров хмуро повернул костлявую голову с темными запавшими глазами — и встретил задумчивые, тихо сиявшие глаза. Они сияли тихо, до самой глубины своей, и глядели широко, с радостью и удивлением. И было мучительно глядеть в их светлую глубину, и хотелось разбудить его и крикнуть.

— Все поймут, товарищ, поверьте, — повторил молодой, и Петров кротко согласился:

— Может быть, — и шутливо крикнул околоточному: — Ну что, крючок, очухался?

— Оставьте, пожалуйста, ваши насмешки, — обиженно ответил Иван Иванович и, испугав-

шись своей дерзости, добавил: — Сами же велели молчать, а теперь… Это, что ль, баррикада-то? Ну и нагородили!..

II

В действительности народу было много, работа шла веселая и живая, и Иван Иванович долго не мог никуда приткнуться. Пробовал и тащить, и подпихивать, и вязать проволокой, но все у него выходило не так, и его прогоняли. Просто он не понимал назначения баррикады, — она казалась ему странной и нелепой игрушкой, сооружаемой какими-то баловниками для непонятного баловства, и что нужно сделать для того, чтобы она стала лучше, он не догадывался. И вид имел бестолковый, растерянный и даже печальный, так как очень беспокоился к тому же за пальто. Одну полу он уже успел испачкать, и по серебристому сукну проходила скверная темная полоса. Подумал — и пошел жаловаться к Петрову.

— Не знаешь? — презрительно сказал тот. — Видишь вон столб телеграфный? Ступай и пили.

— Да у меня и пилы нет.

— Поищи.

И опять его гоняли от одного к другому, но наконец нашел пилу и даже подручного для работы, какого-то старого рабочего.

— А ты бы шинель-то снял, — посоветовал рабо-

чий. — Пальто хорошее, жалко, как испортится, да и работать легче.

— Боюсь, украдут, — сказал околоточный.

— Ну вот! — удивился старик. — Кому оно нужно. Тут, брат, граждане, а не воры…

— Рассказывай! — не поверил Иван Иванович, но пальто снял, сложил комочком изнанкой наверх и осторожно положил на подоконник, так, чтобы оставалось на виду.

Работа пошла легко, и все вокруг как-то посветлело, стало проще и понятнее. Попригляделся околоточный и к народу, и народ был все простой, такой, с каким он привык и умел обращаться: рабочие, какие-то мужики, полугоспода, приказчики из лавок. Были и женщины.

— Смотри-ка, — сказал Иван Иванович, — и бабы тут. Тоже работают.

— А отчего же им не работать. Всяк должен свою лепту.

— Выдрать бы их за эту лепту, вот что.

— Ну и гадюка же ты! — удивился рабочий. — Тебе-то они чем помешали? А еще скажешь, позову ребят, они тебя научат, в лучшем виде все поймешь.

— Граждане, а деретесь, — упавшим голосом возразил околоточный.

— Мы-то граждане, а ты-то сволочь. Вас да не бить, кого же тогда бить?

И опять стало скучно и беспокойно. Невдалеке стоял Петров и искоса наблюдал, и все кругом было враждебное, злое, обидное в своей веселости. Еще вчера он был лучше их всех и каждому мог дать по морде, а сегодня они считают себя лучше, а сами грязные, оборванные, подлецы. Шагах в пятидесяти, у лавки, стоял лавочник, толстый, седой, и, заметив его, Иван Иванович осклабился и закивал ему головой: первый, наконец, хороший человек. Околоточный часто забегал к нему в магазин поговорить по телефону, знал его и понимал, что и ему теперь противно смотреть на это безобразие. И действительно, лавочник строго и внимательно глядел на выраставшую баррикаду, потом неодобрительно закачал головой и скрылся в дверях.

— Ага! — сказал околоточный.

— Ты что?

— Ничего, так. Рано вы в граждане записались.

— Ты опять?

Лавочник вышел. Впереди себя он катил огромную пустую бочку, подкатил ее к баррикаде и поставил. Поглядел издали, подперши щеку рукой, выхватил у соседа топор и разбил бочку, так

что острыми ребрами своими она расползлась в стороны, как своеобразный букет. И среди других голосов и смеха послышался и его густой и самодовольный смех.

— Попробуй-ка, перескочи!

Пытался Иван Иванович для доклада приставу запомнить работавших, но, кроме седого лавочника да одного дворника, который со двора таскал один какие-то огромные бревна, никого признать не мог. Да и Петров, заметив его внимательные, изучающие взгляды, погрозил ему пальцем, и Иван Иванович скромно опустил глаза. «Привязался», — подумал он, а рабочему насмешливо, но тихо фыркнул:

— Даже и смотреть нельзя, скажите пожалуйста, какие цацы!

— Глаз-то у тебя нехороший, — серьезно заметил старик. — Напрасно они тебя взяли. Самое бы хорошее: повесить тебя на баррикаде заместо красного знамени. И дешево и сердито!

— Что же тут хорошего!

Рабочий, видимо, шутил, но Иван Иванович не мог разобрать, где кончается шутка и начинается серьезное, и сердце у него порывами начинало сильно трепыхаться и начиналась изжога, как будто он много съел дурного, прогоркшего масла.

Но проходил час и другой, и никто его не трогал, хотя многие грозились, а один мальчишка снежком залепил ему в голову. Мальчишку обругали, а Иван Иванович совсем успокоился и за себя и за пальто и уже начал понемногу распоряжаться и повышать голос:

— Куда кладешь?! За тот конец бери! За тот, говорю. О господи, вот же народ бестолковый!

Теперь он понимал, что такое баррикада.

— Упри его концом сюда, так, — чтобы остряком оно вперед. Так, верно!

И уже развязно подходил к Петрову:

— Господин Петров! Извольте приказать, чтобы ваши товарищи помогли мне снять вывеску. Мы ее посередке поставим.

Петров, не оборачиваясь, коротко отвечал:

— Убирайся вон.

— Как же это так? — пожимает околоточный плечами, но на время затихает и сжимается, поглядывая как-то исподнизу, как побитая собака. А потом снова овладевал положением и постепенно повышал голос, сразу, впрочем, переходя на шепот, когда встречался взглядами с Петровым. Необходимо было показать, что он хоть и без пальто, но лучше других, чище и благороднее.

— А вы бы, сударыня, лучше не за свое дело не

брались, — сказал он женщине в платке, которая привезла на салазках вязанку дров и сбросила в баррикаду. — Лучше бы вашему мужу щи готовили, а не политикой занимались.

Он сказал тихо, спокойно, а женщина вдруг закричала, так что отовсюду посыпал народ.

— Что?! Это ты мне говоришь? Мне? Мужа моего слопал, а теперь мне говоришь!

И со всего размаху ударила его по щеке. Он схватил ее за платок и сорвал, но тут сразу десяток рук вцепились в него и приковали его к месту. И опять от ужаса онемели ноги.

— Я не виноват! Она… Я не виноват, честное, благородное слово! Я ей сказал…

Женщина плакала, сидя на салазках, и дружинники смотрели угрюмо. Петров глядел долго и внимательно и не выдержал — плюнул.

— Гуманность! — сказал он презрительно.

— Господин Петров! Господин Петров! — звал его околоточный. — Я ей сказал…

— Молчать!

И опять жизнь Ивана Ивановича, как ему казалось, повисла на волоске. Но женщина повязала платок, улыбнулась сквозь слезы и сказала:

— Ну его к богу.

Пришел молодой, сияющий. Он куда-то уходил

и только сейчас вернулся, радостный и возбужденный.

— Надо его на нашу квартиру. Я был там, говорят, — всех доставляйте сюда. Хорошо!

— Что хорошо? — спросил Петров.

— Так. Все хорошо. Погода хорошая.

Когда Василий и двое других дружинников повели Ивана Ивановича, он вдруг остановился и громко закричал:

— А пальто? Я не могу без пальто. Мне холодно. Я простудиться могу.

Вернулись и взяли пальто. Оно так и лежало комочком, как положил его Иван Иванович. Шли молча и торопливо, оглядываясь по сторонам и прислушиваясь; на Ивана Ивановича и его новое пальто не обращали никакого внимания. Теперь, когда было столько случаев расстрелять его и его не расстреляли, он проникся уверенностью, что и впереди ему ничего серьезного не грозит, и смотрел на своих спутников с презрением.

— Послушайте, вы, — сказал он молодому, — как вы шашку нацепили? Разве так носят?

— А что? — спросил тот.

— А то. По ногам бьет, вот что. Подтянуть надо.

— Сойдет и так, — засмеялся молодой. — Сие не есть важно.

«Сие, — подумал Иван Иванович. — Вот еще дурак: сие», — и с отвращением сплюнул.

— Куда вы меня ведете-то? — грубо спросил он.

Один из дружинников сердито взглянул на него и оборвал:

— Молчать!

И опять словно тяжелая крышка захлопнулась над головой околоточного. Стало душно и нехорошо, и хотелось не то плакать, не то ругаться, не то просить о чем-то. Совсем недалеко, где-то за белыми крышами, посыпались частые выстрелы. Дружинники остановились и беспокойно оглянулись.

— Надо свернуть, — сказал один.

— Ничего, пройдем, — ответил молодой.

— Лучше свернуть, — поддержал другой и вынул револьвер. — А у вас есть револьвер, товарищ?

— Нет, — беззаботно ответил Василий. Оказалось, что у всех троих был только один револьвер, и Иван Иванович злорадно улыбнулся. «Так, так», — подумал он.

Свернули в коротенький, безлюдный переулок, густо покрытый давно не сгребаемым снегом. Но не успели сделать и нескольких шагов, как из-за поворота вылетел беспорядочной лавиной

отряд драгун, человек двадцать пять или тридцать. Прошла только минута или полминуты, и все изменилось: дружинник, у которого был револьвер, одной струей выпустил все заряды и убежал за угол; еще раньше убежал его товарищ. А Василий зацепился за шашку, попавшую ему между ногами, упал, и верхом на нем сидел околоточный, бил его кулаком по затылку и не кричал, а шипел что-то, какое-то бесконечное свистящее ругательство.

Иван Иванович торжествовал. От бурного ликования, от ненависти, от злобы он как будто терял мгновениями сознание и захлебывался словами. Он то смеялся, то начинал обиженно плакать, то визгливо вскрикивал что-то непонятное и все порывался ударить Василия, которого держали за руки драгуны. Постепенно из криков, ругательств и плача выделились визгливые слова:

— Этот самый! Этот самый!

Он бесконечно повторял: «этот самый!» — вкладывая в эти слова весь свой страх, и ненависть, и обиду… Толстый офицер неподвижно сидел в седле и тусклыми глазами смотрел попеременно то на околоточного, то на пленника.

— Так как же? — сказал он, задыхаясь. — Расскажи, как там было. Покороче!

Иван Иванович рассказал, но не так, как было, а по-своему, и главным виновником нападения выставил Василия. И все время тыкал в него пальцем и кричал:

— Этот самый!

Василий молчал, был страшно бледен, и губы его дрожали. Снизу лицо его озарял чистый, еще не загрязненный снег, сверху падал на него отсвет холодного, белого зимнего неба, и не было уже молодости в этом лице, а только смерть и томление смерти. Сразу все кончилось. Сразу обрывалась жизнь, которая еще сегодня цвела так пышно, так радостно, так полно. Все и навсегда кончалось: глаза не увидят, и уши не услышат, и мертвое сердце не почувствует. Все кончилось.

— Так как же? — сказал офицер. — Надо его расстрелять. Он вас расстрелять хотел, а мы его расстреляем. Вот и будет хорошо.

Солдаты уже прицелились, когда офицер широко раскрыл глаза и закричал:

— Стой! Вы куда же это его поставили, а?

Солдаты не понимали.

— К окнам поставили, идиоты! Стекла побьете. К стенке поставить. Ну, так. Валяй! Нет, погоди. Ты, слушай, отвернись! Не понимаешь? Спиной стань.

Он тихо ответил:

— Не хочу.

— Что? Что ты там бормочешь?

Он так же тихо повторил:

— Не хочу.

Иван Иванович громко засмеялся. Толстый офицер перевел на него тусклые и странно-добродушные глаза и сказал:

— Чего вы смеетесь? Это его дело. Не хочет, так не хочет. Ну, валяйте.

Когда все кончилось, офицер приказал одному солдату отдать свою лошадь Ивану Ивановичу, а самому сесть позади товарища. Уже тронулись и перешли на рысь, когда офицер внезапно закричал:

— Стой!

Остановились. Офицер тяжело повернулся к околоточному и озабоченно спросил:

— А шашку-то вы взяли?

— Вот она! — весело ответил Иван Иванович.

— Ну то-то. Трогай!

Теперь Иван Иванович чувствовал себя еще лучше, чем утром. В том же новом пальто он ехал на лошади, рядом с настоящим офицером, и хоть сильно подпрыгивал, но держался крепко. Жаль только, что публики не было: улица была пуста,

и где-то за белыми крышами бухали пушки.

1908 г.

Смерть Гулливера

…Наконец, после коротких, но мучительных страданий, Человек-Гора (так сам Гулливер передавал лилипутское слово «Куинбус Флестрин») с сильным шумом испустил последнее дыхание, но друзья покойного, ученые, придворные, врачи и простой народ долго еще не решались приблизиться к трупу, так как не были уверены в смерти и боялись, что резкое движение руки или ноги, какими сопровождается агония, может причинить увечье и даже нанести смерть неосторожному смельчаку. Лишь безрассудная чернь, пожираемая любопытством, настойчиво стремилась к умершему, и сильному караулу стоило большого труда сохранить порядок. Но по прошествии двух часов полная неподвижность огромного трупа убедила присутствующих, что опасности нет, и ученые врачи по немедленно приставленной лестнице взобрались на грудь Гулливера, чтобы составить формальное свидетельство о смерти. Впоследствии это свидетельство было опубликовано, и вот какие несомненные признаки смерти установили ученые: грудь Гулливера,

ранее при его дыхании колебавшаяся так сильно, что у многих лилипутов это вызывало припадок морской болезни, теперь оставалась неподвижной и холодной, как мраморный пол в главном храме столицы; равным образом прекратился и тот страшный шум, стук и хрипы, которыми сопровождалось биение огромного сердца Человека-Горы. Расположившись на том самом месте груди, под которым должно было находиться сердце Гулливера, если допустить, что он был создан по тому же образцу и подобию, как и лилипуты, ученое собрание не услыхало ни малейшего звука и не ощутило колебаний почвы.

Весть о смерти Человека-Горы всю страну Лилипуты одела в глубокий траур. Его многочисленные враги и завистники, осуждавшие его за слишком большой, вредный для государства рост, умолкли, удовлетворенные смертью; наоборот, все с удовольствием вспоминали его силу и кротость, и исключительно его доблести приписывали победу над флотом враждебного острова Блефуску. И кучка друзей, вначале весьма небольшая, с каждым днем заметно росла, пока наконец весь народ Лилипуты не превратился в искреннего, громко плачущего друга Гулливера. Исключение составлял только генерал-адмирал

Скайриш Болгалам, продолжавший хранить злобу и после смерти своего врага и предложивший для опозорения Гулливера не предавать его погребению, а оставить труп в добычу хищным птицам. Однако это предложение было с негодованием отвергнуто в Государственном совете, что, тем не менее, нисколько не разрешало страшного затруднения, вытекавшего из вопроса о том, как хоронить Человека-Гору.

Противники генерал-адмирала горячо возражали, что если оставить Человека-Гору без погребения, то разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и заразу во всем королевстве. В то же время все споривше находили невозможным перевозить Гулливера на кладбище, так как всякое кладбище оказывалось для него тесным, при провозе же трупа пришлось бы разрушить целые улицы и кварталы в великолепной столице Лилипуты. При этом все вспоминали, как Гулливер, во время дозволенных ему прогулок по городу, свободно перешагивал через городские ворота, в отверстие которых едва проходила его рука. Положение стало уже казаться безвыходным, когда покровитель Гулливера, Рельдресэль, главный секретарь по тайным делам, предложил вырыть яму тут же,

возле трупа, и при посредстве рычагов свалить туда умершего. Это предложение было одобрено, и три тысячи лилипутов, вооруженных лопатами и кирками, в ту же ночь, при свете факелов, приступили к исполнению тяжелой работы. Математиками было вычислено, что при таком количестве людей яма, необходимая для сокрытия трупа, равного по объему 1724 лилипутам, будет вырыта в течение суток.

Свободный день, оставшийся до погребения, было решено, по предложению того же Рельдресэля, посвятить чествованию памяти Человека-Горы. На основании этого предложения впоследствии создалась клевета, обвинявшая уважаемого Рельдресэля, секретаря по тайным делам, в том, что он находился в тайных сношениях с партией тремексенов (высоких каблуков), враждебной правительству. Мы с большим удовольствием можем опровергнуть эту клевету, так как сами, принадлежа к партии «низких каблуков», знаем из вполне достоверных и несомненных источников, что г. Рельдресэль был настолько убежденным человеком, что даже своим выездным лошадям делал низкие подковы без шипов, хотя это неоднократно на крутых заворотах подвергало опасности его драгоценную жизнь.

Означенное же предложение имело своей целью увеличить блеск и славу королевства, одним из подданных которого был и Человек-Гора, а также избавить страну от беспорядков и смуты, так как беспокойная чернь, наивно обожавшая Гулливера за его непонятный ей рост, уже выражала свое нетерпение криком, свистками и даже непристойными песнопениями.

С утра столица разукрасилась черными флагами, а к полудню, когда назначено было торжество, огромные толпы лилипутов устремились к городским воротам на дорогу, ведущую к жилищу Гулливера (как известно, Гулливер жил в полумиле от городских ворот, в покинутом храме). По вычислениям математиков, около трупа собралось 121 223 человека, не считая детей, принесенных на руках матерями-плебейками. Ораторов, желавших в своих речах похвалить заслуги покойного, записалось, по вычислениям тех же математиков, 15 381 человек, что снова создало немаловажные затруднения. Первоначально, чтобы не обидеть ораторов, было предположено бросить жребий и самой судьбе предоставить выбор; но нашлись скептики, не верившие в судьбу, опасавшиеся, что жеребьевка может привести к плохим результатам

и выдвинуть даже глухонемых ораторов (так как среди записавшихся были и такие). Гораздо справедливее, казалось им, выбрать ораторов по росту и по силе голоса, сделав исключение лишь для ученых, рост которых, ввиду их привычки держаться с согнутой спиною, определить было очень трудно. Голоса же они не имели никакого, так как говорили шепотом. Так и было решено: из толпы ораторов, заметив наиболее крикливых, выбрали 500 человек, в свою очередь эти 500 были размещены группами по росту, и самые высокие в количестве 60 были приглашены на трибуну. К сожалению, двух пришлось удалить, так как один совсем не знал, в чем дело, а другой был его товарищем. Достойно сожаления и то, что мудрый порядок к концу дня был нарушен, и явились новые, никому не ведомые ораторы, слишком восторженные хвалители покойного, призывавшие к беспорядкам беззаботную и легко воспламеняющуюся чернь. Но о них не стоит говорить.

Нельзя достаточно похвалить великолепие и пышность торжественного празднества. Чернь в ее грубых, но ярких одеждах была отодвинута на дальнее расстояние, вблизи же, около самого трупа, неподвижной холодной горою вздымавшегося

над головами, расположились лилипуты в дорогих и строгих костюмах, гарцевали всадники на гордых конях, и пышно одетые лилипутские солдаты, гвардия и гусары торжественным маршем двигались взад и вперед, очищая пространство. Тут же, в среде близких Гулливеру друзей, находился и тот знаменитый лилипут, которого толпа, вследствие его большого роста (он на целый ноготь превышал ростом всех остальных лилипутов), предназначала в преемники Человеку-Горе. Провожаемый любопытными и завистливыми взорами, он гордо расхаживал возле трупа на своих высоких каблуках, делавших его рост еще более значительным, и, как свой человек, садился отдыхать на бледном и холодном мизинце Гулливера. Но так как с другой стороны трупа его не было видно, то он, пользуясь правами своей признанной силы и роста, влез на самый труп и в независимой позе расположился на колене. Отсюда его было видно всем, и его заметили даже в самых дальних рядах лилипуты, обладавшие острым зрением. Трибуна для ораторов была устроена на груди Человека-Горы и украшалась флагами и зеленью, а также наскоро сделанным бюстом покойного. Талантливому скульптору удалось вложить в черты лица Гулливера столько

мощи и благородства, что видевшие бюст вблизи уверяли в его несомненном превосходстве над оригиналом и шепотом говорили о лести. Налево от трибуны, на животе Гулливера, были расположены места для почетных гостей, с презрением избранников поглядывавших на болтливую чернь, которая, в свою очередь, с восторгом и жадностью рассматривала их дорогие, всем знакомые лица. Лилипуты, копавшие могилу для Гулливера, были ограждены от взоров черни высоким, наскоро сколоченным забором; и только в редкие минуты тишины лязганье железа о камень, шорох осыпающейся земли выдавали их таинственную и мрачную работу. Но с высоты трибун хорошо видна была глубокая яма; и в ожидании, когда начнется праздник, почетные гости с интересом следили за работой и обменивались глубокомысленными замечаниями, восхваляя государственный гений лорда Рельдресэля.

Наконец, по знаку церемониймейстера, начались речи.

Первыми пустили на трибуну ученых. Они взошли все вместе и говорили все сразу; говорили они одно и то же, и все говорили шепотом, почему их все равно не было слышно. Но это не имело значения, так как их речи, исправленные

и обработанные дома, должны были появиться в «Ежегоднике» лилипутской Академии наук, где их прочтут все остальные члены означенной ученой корпорации. Тем временем, пока они говорили, воспользовались господа и чернь для завтрака, ибо время уже было позднее и многие устали от долгого ожидания. С разрешения церемониймейстера для господ во время завтрака играл оркестр музыки, причем, ввиду скорбности момента, исполняемые вещи отличались крайнею меланхоличностью.

Содержание речей ученых, как видно из «Ежегодника», в главных чертах сводилось к следующему. Человек-Гора был замечателен тем, что обладал очень большим ростом и соответствующей силой, — здесь учеными были представлены самые точные таблицы и вычисления роста Гулливера, объема его тела и предполагаемого веса. Но причина такого роста, по заключению ученых, была неизвестна, и такой останется навсегда. Равным образом остается неизвестною и цель, ради которой природа произвела столь чудовищный феномен. Что же касается силы, то здесь мнения ученых несколько расходились: одни утверждали, что сила есть просто сила, другие же искали для нее оправдания в тех по-

стройках, переноске камня и тяжестей, которые были поручены Гулливеру. Но в результате все опять сошлись на том, что и сила остается необъяснимою и, как таковая, враждебною и вредною для человечества. Наука же, в лице ее лучших представителей, просто не признает Гулливера за факт и выражает сильные сомнения в самом его существовании. По единогласному заключению ученых, Гулливер не что иное, как миф, легенда, созданная простым народом ввиду его склонности к чудесному и необыкновенному. Гулливер не существовал никогда, а тот, кто утверждает обратное, лишается звания ученого, навсегда изгоняется из академии и предается проклятию в «Ежегоднике».

По окончании своих речей, при громе аплодисментов, ученые толпой спустились вниз с трупа Гулливера, причем уже внизу, на самой земле, между двумя маститыми представителями корпорации произошла потасовка, вызванная, как оказалось впоследствии, коренным разногласием в их взглядах на Гулливера: что такое Гулливер — миф или же легенда? Другие же ученые тем временем жаловались, что, несмотря на принятые меры, теплую одежду и обувь, они боятся простуды, так как от огромного трупа идет

невыносимый холод, способный не только охладить, но и заморозить самого пылкого оратора. Самую же выдумку — устроить трибуну на трупе — они считают издевательством над наукой: едва ли безрассудная и невежественная чернь оценит всю силу их доказательств мифичности Гулливера, если ее глазам в то же самое время легкомысленно представляется труп. Впрочем, по знаку церемониймейстера, волнение среди ученых немедленно улеглось, а те двое, все еще продолжавшие драться, были вместе посажены в темную, без окон, карету и отправлены обратно в академию.

Вторая очередь была за многочисленными друзьями Гулливера, которые, среди слез и воздыханий, передали свои воспоминания о почившем. Первый из ораторов, имени которого, к сожалению, нам не удалось узнать, был самый близкий друг Человека-Горы и сам обладал звучным, мужественным голосом и исполненной достоинства внешностью. Дрожащим от любви голосом он подробно рассказал, как однажды Гулливер на целых два дня позабыл его в своем кармане. С изумительным красноречием оратор передал взволнованным слушателям свои мучения от голода, жажды и темноты, и, наконец, радость

Гулливера, когда на третий день, полезши в карман за табакеркой, он нашел там своего лучшего друга. По скромному признанию оратора, его советам и его неусыпному наблюдению обязан Гулливер развитием своей силы и благородством души.

Второй оратор, обладавший необыкновенно сладким голосом, оказался также первым другом Гулливера. Но как друг, обязанный быть правдивым из уважения и любви к покойному, он должен был отметить некоторые дурные стороны в его характере. Так, сознавался он, Гулливер был жаден, корыстолюбив и зол, склонен к тщеславию, почему и друзей для себя выбрал из людей знаменитых, способных отблеск своего величия бросить и на его голову. Сам по себе ничтожный, Гулливер искусственно увеличивал свои размеры, делая для сапог толстые подошвы. Как раз перед смертью Гулливер задумывал грандиозную измену относительно приютившего его государства Лилипуты, в чем и сознавался со слезами оратору. По грустному признанию оратора, только его благотворному влиянию народ обязан тем, что весь его не перетоптал Гулливер своими сапожищами. Нет сил описать ту жалкую завистливость, ту мрачную злобу, которую Гул-

ливер питал ко всем своим истинным друзьям, признавая только подхалимство…

Здесь с оратором, к сожалению, случился припадок какой-то странной болезни, вызванной волнением. На губах его показалась пена, а плавная речь перешла в дикие и невнятные выкрики. Впрочем, по знаку церемониймейстера, припадок быстро прекратился и при громе аплодисментов оратор торжественно слез на землю. Но наибольших оваций удостоился третий оратор, также первый друг Гулливера, сумевший своей искусной речью зажечь в лилипутах пламя горячего патриотизма. Он доказал, что сам по себе Гулливер не мог бы значить ничего, если бы не те тысячи лилипутских баранов, которых он поглощал ежегодно. «Бараны, именно наши лилипутские бараны, — восклицал оратор, — претворяясь в мясо, кровь и мозги, составляют силу и славу Человека-Горы. Кто победил враждебный остров Блефуску? Человек-Гора? Нет. Остров Блефуску победили наши лилипутские бараны, ибо сам Человек-Гора есть не что иное, как только совокупность баранов!»

Здесь оратор в трогательных и живых красках дал незабвенный образ лилипутского барана, кроткого, послушного, всю жизнь готового к

самопожертвованию во имя высших интересов королевства, этого незаметного героя, шерсть которого создает блеск, а мясо — могущество королевства Лилипуты. Рискуя порвать голосовые связки, оратор пропел экспромтом сочиненную оду в честь лилипутского барана.

Восторг слушателей уже достигал крайней степени, когда, по знаку церемониймейстера, пение внезапно прекратилось. Дело в том, что всякое пение, даже самое патриотическое, в некоторых случаях считалось опасным, так как чернь, плохо понимавшая язык высших классов, с готовностью подхватывала пение, но употребляла совсем другие, нежелательные слова. Кстати, в назидание следующим ораторам, церемониймейстер указал на те пункты, которых не должны касаться ораторы: нельзя говорить о новой монетной системе, нельзя трактовать вопроса о канале на юго-востоке Лилипуты, нельзя касаться угреватого носа генерал-адмирала (составлявшего обычный предмет шуток для уличных демагогов), нельзя вспоминать того неприличного способа, каким Гулливер потушил пожар, и проч. и проч. Чтение запрещенных пунктов заняло около часа, каковым временем воспользовались лилипутская гвардия и гусары и трижды торжественным мар-

шем продефилировали перед трупом.

Новый оратор оказался, к несчастью, человеком желчным и даже неприличным, что редко встречается между лилипутами. К потехе развеселившейся черни, он доказал, что первые три лучшие друга Человека-Горы не только никогда не были его друзьями, но даже не имели чести быть с ним знакомыми; и тот из них, который провел два дня в темном кармане, попал туда совершенно случайно, во время обыска Гулливера; и что Гулливер не только не выразил радости, когда вытащил его из кармана, но, наоборот, наказал его весьма жестоко и непристойно. Сам же он, оратор, даже и не желает числиться другом Человека-Горы и предпочитает лучше делать фальшивые деньги, чем…

Вероятно, оратора в справедливом негодовании избили бы присутствующие, если бы некий смешной и досадный случай не положил более мрачного конца его речи. Случилось же то, что высокий лилипут, считавшийся преемником Человека-Горы и продолжавший сидеть на колене, где он принимал одну за другою независимые позы, зацепился за что-то высоким каблуком и торчмя головой полетел вниз; и только тем избавился он от ужасной смерти, что попал на

высокую, необыкновенно толстую лилипутскую даму. Визг испуганной дамы, дикое гоготанье черни, вой и свист на мгновение нарушили чинное течение торжества, но по знаку церемониймейстера шум немедленно прекратился, и на освободившуюся трибуну полезли новые ораторы. Трудно передать содержание всех речей, тем более что большинства их не было слышно вследствие высоты трупа, на котором помещались ораторы; но все бывшие на празднике не без основания утверждают, что такого высокого подъема чувств, такого блеска и красоты слов, такой силы в выражениях они еще не встречали. Многие из слушателей были взволнованы до слез, карманные воришки, таскавшие носовые платки из карманов, жаловались друг другу на страшную сырость и нечистоту платков, делавших их не только негодными, но даже опасными в смысле здоровья для немедленного употребления.

Самым, однако, торжественным и трогательным моментом был тот, когда на труп взобрались оркестр и многочисленный хор и вполголоса, дабы не возбуждать черни, исполнили величественную кантату, написанную для этого случая знаменитым композитором-лауреатом. Мощные звуки, смягченные желанием исполнителей не

быть услышанными, вызывали в памяти величественный образ Человека-Горы и поднимали настроение все выше, когда новая печальная случайность вдруг прервала музыку и пение и все взоры обратила к дальним рядам черни. По-видимому, там не знали, что сейчас гремит музыка, но, во всяком случае, в середине толпы раздался какой-то новый, очень громкий и странный, не похожий на все предыдущие, звук. Посланные узнать, в чем дело, сообщили церемониймейстеру, что это плачет какой-то плебейский ребенок, которому будто бы очень жаль Человека-Гору. И пока церемониймейстер старался понять, в чем дело, к плачу одного ребенка, как это часто бывает между детьми, присоединился такой же странный и горький плач всех остальных плебейских детей. Как ни хлопотали распорядители, как ни старались сами отцы и матери плачущих детей, угощая их шлепками и подзатыльниками, плач становился все громче и переходил в явное неприличие по отношению к высокому, холодному и строгому трупу. Только удалением всех детей, их отцов, матерей и дальних родственников удалось достигнуть сравнительной тишины, но раз нарушенный чинный порядок уже не мог восстановиться. С наглой развязностью на трибу-

ну полезли какие-то не ведомые никому грязные ораторы и, совершенно забывая о Человеке-Горе, начали кричать о каких-то своих желаниях и даже требованиях. Кто-то кого-то бил, — одни очевидцы утверждают, что это били запоздавших ученых, другие же очевидцы говорят, что это расправлялись с друзьями Гулливера, третьи же, наконец, доказывают, что били самих ораторов.

Чем кончилось торжество, неизвестно, так как в этом месте и в природе, и в тогдашних хрониках наступает тьма. Но надо полагать, что по знаку церемониймейстера порядок был восстановлен, так как ни в одном историческом сочинении, относящемся к тому времени, нет и намека на что-либо необычайное и тревожное. Наоборот, бронзовые медали, вылитые в память торжества и изображающие лилипутов, которые венчают лавровым венком голову кротко улыбающегося Человека-Горы, ясно свидетельствуют о полном благополучии и прекрасном настроении действующих лиц.

Но пришла ночь. И вместе с ночью на обезлюдевшее поле, где покоился в ожидании могилы огромный, строгий и важный труп, легла чуткая и страшная тишина. Над городом еще светлело зарево городских огней: там еще продолжались

сборища в честь Человека-Горы. И вместе с ветром сюда доносился невнятный и ровный гул голосов. А здесь было темно и тихо; и когда выплыла из-за облаков маленькая луна, громадный труп окрасился бледным светом, как цепь горных снеговых вершин. В огромной черной тени, лежавшей по одну сторону трупа, мелькали, однако, какие-то слабые огоньки: то три тысячи лилипутов поспешно заканчивали могилу для великана. Тихо скрежетало о песок и землю железо лопат, вспыхивали голубые искорки при ударе киркой о камень, и темная масса маленьких созданий, еле озаренных скупым светом редких факелов, смутно копошилась на дне черной пропасти. Кто-то торопил. Слабо доносились со дна шипящие звуки коротких приказаний, и страх незримо витал между торопливыми могилокопателями.

А по другую сторону трупа на освещенном луною пространстве смутно темнели какие-то неясные, почти неподвижные, как и сам труп, но живые пятна. То в глубоком безмолвии молились коленопреклоненные лилипуты, одни из тех, что, томимые тоской и отвращением, бежали в эту ночь из шумного и крикливого города. Расплывались пятна, становились то уже, то шире, но ни единым грубым звуком не нарушали они

чуткого безмолвия великой ночи, последней, которую проводил на земле Гулливер. Все ярче светила, поднимаясь, луна, и опускались к горизонту мглистые тучи с очистившегося неба, и грозным покоем неразгаданной божественной тайны веяло от мертвеца. Проходила ночь.

Но нашлись и в городе застенчивые и добрые лилипуты, которые не пошли ни на улицу, ни на шумные площади, ни в залитые светом залы, а сидели в своих маленьких игрушечных домах и с ужасом прислушивались к наступившей в мире тишине. Навеки ушло из мира то огромное человеческое сердце, которое высоко стояло над страною и гулом биения своего наполняло дни и темные лилипутские ночи. Бывало прежде так, что от страшного сновидения просыпался среди ночи лилипут, слышал привычно твердые, ровные удары могучего сердца и снова засыпал, успокоенный. Как некий верный страж, сторожило его благородное сердце, и, отбивая звонкие удары, посылало на землю благоволение и мир, и рассеивало страшные сны, которых так много в темных лилипутских ночах.

И ушло из мира огромное человеческое сердце. И наступила тишина. И с ужасом прислушивался к ней и плакал горько осиротевший беззащитный лилипут.

1911 г.

Он

Рассказ неизвестного

I

Я был пьян от радости, я благодарил судьбу: мне, голодному студенту, уже выгнанному из университета за невзнос платы, на последние сорок копеек сделавшему объявление о занятиях, вдруг попался богатейший урок. Это было в конце октября, в темное петербургское октябрьское утро, когда я получил письмо с просьбою пожаловать для переговоров в гостиницу «Франция» на Морской; а через полтора часа — еще не кончился дождь, под которым я шел из дому, — я уже имел урок, пристанище, двадцать рублей денег. Как во сне, как в сказке! И все было очаровательно: богатая гостиница, великолепный номер, в который меня провели, и необыкновенно любезный, необыкновенно предупредительный и ласковый господин, который меня нанял. От волнения, страха и радости я разобрал только, что господин этот уже в годах и одет прекрасно, как умеют одеваться только богатые люди, с детства привыкшие к хорошему платью. На все его условия я, конечно, был согласен: жить в деревне, иметь собственную комнату, заниматься с мальчиком восьми лет и даром получать пятьдесят рублей

в месяц.

— А море вы любите? — спросил меня Норден («господин» я не буду прибавлять в рассказе).

Я мог только пробормотать:

— Море? О, господи…

Он даже засмеялся:

— Ну конечно. Кто же в молодости не любит моря! Вам будет у нас приятно: вы увидите прекрасное море… немного серое, немного печальное, но умеющее и гневаться и улыбаться. Вы будете довольны.

— Ну еще бы! — Я засмеялся, и, отвечая мне смехом, Норден неожиданно добавил:

— В этом море утонула моя дочь, уже взрослая девушка. Елена. Пять лет тому назад.

На это я так ничего и не ответил. Не нашелся. И, кроме того, меня смущала его улыбка — говорит о смерти дочери, а сам улыбается; и я даже не поверил ему, подумал, что он просто шутит. Денег, двадцать рублей, он сам предложил мне, и при этом, с крайней доверчивостью, не только не взял расписки или паспорта, но даже не спросил моей фамилии; в другое время я нисколько не удивился бы такой доверчивости, но тут я был так голоден, растрепан и такие у меня были мокрые чулки, что я сам себе не доверял. Ведь я же был

выгнан из университета за невзнос платы.

Но к хорошему скоро привыкаешь. Только неделя прошла, как я поселился у Норден, а уже стала привычной вся роскошь моей жизни: и собственная комната, и чувство приятной и ровной сытости, и тепло, и сухие ноги. И по мере того, как я все дальше отходил от Петербурга с его голодовками, пятачками и гривенниками, всей дешевкою студенческой борьбы за существование, новая жизнь вставала передо мною в очень странных, совсем не веселых и нисколько не шуточных формах.

Я еще писал товарищам о том, как я изумительно устроился, а мне уже было невесело, просто невесело; и причину состояния этого я долго не мог найти, так как по виду все было прекрасно, красиво, весело, и нигде так много не смеялись, как у Норден. Только шаг за шагом проникая в тайники этого странного дома и этой странной семьи, — вернее, лишь касаясь прикосновением внешним их холодных стен, я начал догадываться об источниках тяжелой грусти, томительной тоски, лежавшей над людьми и местом.

Начну с места. Дом и сад находились на самом берегу моря, и двухэтажный дом был велик, поместителен, даже роскошен: мне, приблудному

студенту, гольтепе, отвели в нижнем этаже такую комнату, словно я был заезжий сановник или друг дома, оставшийся переночевать. Был великолепен и сад; и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок, да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой, плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан; было много цветов, целые кусты роз, жасмину, а пространство между этими никогда, как мне казалось, не могущими согреться растениями заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу; и сам Норден гордился садом, и я, как только увидел, пришел в искренний, горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев, — слишком одиноких, слишком открыто росших среди ровного газона, вечно чужих и вечно одиноких, — что уже вскоре начинало томить чувством холодной неудовлетворенности, смутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды, горькой ошибки, потерянного счастья.

Почему не было следов на дорожках? В доме

жило много народу, было трое детей, и часто гуляли они по саду, но в воспоминании сад всегда казался пустым, и не было следов на дорожках.

Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием; поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелой ноги. Но мне это не понравилось, и я откровенно сказал об этом Нордену. Он долго смеялся, — я не мог понять, отчего он смеется, — осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал:

— А вы посмотрите утром. Если бы даже были следы, они должны были исчезнуть. Вы посмотрите рано утром.

И, точно по приказу, я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно и увидел: по дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордена и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей, — но мне не понравилось и это.

Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку — дети всегда разбрасывают игрушки, рабочий мог оставить лопату или грабли, но здесь никто ничего не забывал, никто

ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья, и это было вовсе не весело: потемневшие, свернувшиеся листья, безнадежно припавшие к холодному гравию, — но и их убирала все та же покорная рука, сдиравшая следы. Порою казалось, что кто-то, быть может, сам Норден, отчаянно борется с воспоминаниями и делает так, чтоб все было пусто; но чем шире разевала рот пустота, тем осязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они — эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде.

И вскоре я сделался добровольным сыщиком, искателем следов, и был им до тех пор, пока, подчиняясь чреде событий, из наблюдателя сам не превратился в наблюдаемого, из разыскивающего — в прячущегося, из преследователя — в преследуемого. Но до тех пор я все искал; и мое печальное воображение, склонное к тягостным вымыслам, — у меня было тяжелое детство и невеселая одинокая юность, — заселило странный сад всевозможными преступлениями, убийствами, смертями. Конечно, я был молод, и

когда выпадал солнечный день, особенно радостный среди ноябрьских беспросветных потемок, я смеялся над вымыслами своими; но вот шли туманы с моря, низко опускалось, притушая свет, тяжелое мокрое небо, и я снова слышал, как скребут железом, сдирая следы, трое темных; и снова волновался.

Не знаю, сумел ли бы я найти хоть что-нибудь, если бы сам Норден, гуляя однажды со мной по берегу моря, уже за оградой сада, не указал мне на груду камней, имевших форму пирамиды и скрепленных цементом. Осенние прибои разъели цемент, и кой-какие круглые камни уже повывалились, несколько нарушая правильность формы: быть может, поэтому я и не обратил на нее внимания.

— Видите пирамиду? — сказал Норден. — Хоть и меньше Хеопса, но все же пирамида.

Он засмеялся — чему он постоянно смеялся? — и продолжал:

— Здесь я хотел построить церковь в норманнском стиле. Вы любите норманнский стиль? Но мне не позволили… такая узость взглядов!

Я молчал, не зная, что сказать: вообще я не находчив. Он подождал, сколько нужно для ответа или для вопроса, и охотно пояснил:

— Как раз на этом месте был найден труп моей дочери, Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил.

— Как же это случилось?

— А как тонут молодые люди? — улыбнулся Норден. — Поехала на лодке кататься одна, поднялся шквал, лодку перевернуло… как это обычно случается?..

Я посмотрел на серое море, покрытое мелкою рябью; кое-где чернели голые большие камни, кое-где вода особенно поблескивала — просвечивало дно.

— Здесь очень мелко, — сказал я.

— А она уехала далеко.

— А зачем она уехала далеко?

— А зачем молодые люди уезжают далеко? — засмеялся Норден и крайне любезно коснулся моего локтя. — У меня есть две прекрасные лодки, на зиму мы их прибираем, а весною снова спускаем на воду. Вы любите кататься на лодке?

— А ту лодку тоже прибило на берег?

Норден сперва не понял:

— Какую ту лодку? Ах да, ту? Как же, как же, ее тоже прибило на берег. Но теперь она выкрашена, и ее нельзя узнать: прекрасная прочная лодка. Весной вы сами испробуете ее.

После этого разговора, открывшего, как мне казалось, многое, на самом же деле не открывшего ничего, я каждый день рассматривал разрушающуюся пирамиду. Сюда головой, сюда ногами. Но зачем же он, так безжалостно сдирающий следы, перекрасивший в белый цвет лодку, в которой утонула его дочь, зачем он этими камнями закрепил память о погибшей? Минутный порыв или обычная нелогичность, свойственная даже самым последовательным людям?

Не знаю. Я как-то не успел об этом подумать. Все мое внимание захватило море — мне показалось, что оно, именно оно, является главным источником той великой печали, что лежала над людьми и местом этим. Оно было…

II

Но раньше я расскажу о доме и о своей жизни среди этих странных и, несмотря на веселость свою, крайне неприятных и тяжелых людей.

По утрам я занимался с Володей. Это был благонравный восьмилетний человечек с прекрасными манерами взрослого джентльмена, исполнительный, вежливый и необыкновенно покорный. Он не задирал ног на стол, как другие мои ученики, не ковырял в носу, не пачкал бумаги и стола и не делал мне никаких гадостей; и каждое замечание мое он выслушивал с таким странным видом, как будто я был сам царь Соломон, а он скромнейший из учеников и подданных его. Верил он мне или только притворялся, что верит, — но было неловко от этого удивительного внимания, благодаря которому самые ничтожные слова мои вдруг приобретали огромную цену и раздувались в гору. Каждый день, кроме праздников, ровно в десять часов над столом появлялась его стриженая, светлая, крупноватая голова, два часа занимала частицу зрения моего и ровно в двенадцать исчезала. Лицо у него было плоское, белое, почтительное, без бровей; и два

большие, светлые, широко расставленные глаза лежали выпукло, как на тарелке. Мне хотелось надеяться, что выросший Володя покрасивеет. Да, несмотря на свою почтительность, несмотря на то, что он доставлял мне хлопот меньше, чем какой-либо из моих учеников, настолько мало, что как будто его самого не было и совсем, он мне не нравился. И не нравилась, как кажется, именно эта самая покорность его и предупредительность: сам он никогда не смеялся и даже не улыбался, но если кто-нибудь из взрослых шутил, он предупредительно хохотал; сам он ничего не выражал на своем плоском, белом лице, но если кто-нибудь из взрослых желал вызвать в нем страх, удивление, или восторг, или радость, лицо тотчас же покорно принимало требуемое выражение. Словно это был не ребенок, а кто-то, в угоду взрослым добросовестно исполняющий обязанности ребенка, — он и шалил, но только по приглашению и как-то дико, будто вспоминая чужие, виденные во сне шалости. Ибо у других двух детей — мальчика семи лет и девочки пяти — он ничему научиться не мог: они были такие же, как Володя. Впрочем, этих я мало видел, они постоянно были со своей старой англичанкой, с которой я, по незнанию языка, не мог переки-

нуться даже словом.

Пробовал я брать Володю с собой на прогулку, но и гулял он отвратительно — делано, как маленькая дорогая кукла, изображающая благонравного мальчика. И только раз, ненадолго, увидел я в Володе нечто живое. Я вышел побродить по саду, и у одной из чистеньких белых скамеек, на ровной дорожке, не хранящей следов, я увидел Володю: он сидел прямо на сыром песке и обеими руками держался за ногу. По-видимому, он очень больно ушибся, так как лицо его выражало страдание, и он плакал — сидел один и плакал. Но как только заметил меня, встал и, прихрамывая, двинулся ко мне навстречу; и было плоско лицо, и высохли слезы, и весь он снова выражал почтительность и готовность.

— Ты ушибся, Володя?

— Да, немножко.

— Отчего же ты не плачешь?

Он внимательно взглянул на меня, стараясь понять, чего я хочу, увидел полную мою серьезность и покорно ответил:

— Я уже плакал.

Очень может быть, что, как в старинном анекдоте, он даже добавил: «Благодарю вас!» — так был вежлив этот странный и жалкий человечек.

Весь день я был свободен: гулял, если позволяла скверная ноябрьская погода, или читал в своей комнате: все свои книги, а их было множество, Норден любезно предоставил в мое распоряжение, и это вначале было одной из величайших радостей моей невеселой и однообразной жизни. Иногда я занимался в самой библиотеке Нордена, он и это позволил мне; и тут я чувствовал себя совсем как король: мягкие диваны, большие столы, заваленные журналами, множество книг в дорогих переплетах, тишина, как в Публичной библиотеке, — комната находилась во втором этаже, и никакой шум туда не проникал. Да и не было шума, если по каким-то одному ему известным причинам не заводил его сам Норден, заставляя собак лаять, детей танцевать и петь и всех, у которых был рот, — хохотать.

Обедали мы все вместе: дети, англичанка, Норден и я. Гостей у Нордена я не видал ни разу, но за обедом иногда появлялся какой-то толстый, молчаливый немец, раскрывавший рот только для еды или для смеха, когда к этому приглашал его Норден; кажется, это был управляющий его имением, не то домами в Петербурге. За столом всегда смеялись — трудно сказать почему, но смеялись. Сам хозяин рассказывал анекдоты и всех

настойчиво приглашал смеяться. Для англичанки он переводил их на английский язык, но если и забывал перевести, она все равно хохотала: так требовали, по-видимому, обычаи дома. Первое время я был серьезен, и Нордена это беспокоило и даже огорчало, — тревожно и близко заглядывая мне в глаза, он удивленно расспрашивал:

— Почему вы не смеетесь? Вам это не кажется смешным? Но ведь это же очень остроумно.

И объяснял, почему остроумно и почему я должен смеяться. Но если и тут я продолжал сохранять серьезность или только улыбался, а не громко хохотал, Норден начинал волноваться, настойчиво рассказывал все новые и новые тусклые анекдоты, выжимая из меня смех, как воду из масла; и казалось, что, не засмейся я и теперь, он станет плакать, целовать мои руки и умолять для спасения его жизни прохохотать хотя бы только раз. И кончилось тем, что я начал хохотать, как все, — помню до сих пор тот конвульсивный, нелепый, идиотский смех, который раздирал мне рот, как удила пасть лошади. Помню то мучительное чувство страха и какой-то дикой покорности, когда, оставшись один, совсем один в своей комнате или на берегу моря, я вдруг начинал испытывать странное давление

на мышцы лица, безумное и наглое требование смеха, хотя мне было не только не смешно, но даже и не весело.

В течение нескольких дней, видя за столом только упомянутые лица, я решил, что в доме больше нет никого. Но однажды, как раз за обедом, наверху, в комнате, которая всегда была заперта, кто-то заиграл на рояле. Я удивился и, быть может, нарушая приличия, — я всегда путаю эти приличия, — спросил:

— Кто это играет?

Норден весело ответил:

— Ах, это? Разве вы не знаете? Это моя жена. Простите, если я забыл вас предупредить. Это моя жена. Она не совсем здорова и не выходит из своей комнаты. Но это удивительно талантливый человек! Вы послушайте, как она играет.

Но музыка была очень печальна, и Норден стал беспокоиться.

— Удивительно играет, — повторил он, отстукивая ножом по краю тарелки неуловимый такт. Но не выдержал и побежал наверх. А возвращаясь, еще с лестницы, весело кричал:

— Дети! Мисс Молль! Приготовьтесь, мама хочет, чтобы вы веселились.

Наверху действительно заиграли что-то ве-

селое: какой-то модный танец, требующий конвульсивно-быстрых, судорожно-веселых движений. В громкой игре чувствовалась неуверенность, и Норден дружески пояснил:

— Новые ноты. Я только что привез из Петербурга. Очаровательный танец, его сейчас танцует вся Европа.

И весело закричал:

— Танцирен, мейне киндер, танцирен. Мисс Молль!..

И эти послушные куколки завертелись; и самая маленькая наивно открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Кажется, она одна из всех была искренно весела и смеялась, от всей своей маленькой души. Сама мисс Молль, наблюдая за детьми, вертелась тупо и туго, как на арене цирка лошадь, поднятая на задние ноги звонкими ударами бича. Норден похлопывал в ладоши, вскрикивал, приободряя танцующих, и, наконец, сделав вид, что не может долее выдерживать, начал кружиться сам. И, кружась, спрашивал меня:

— А что же вы, что же вы?

Потом остановился и начал упрашивать:

— Ну, пожалуйста! Ну, немного, вы доставите

всем нам огромное удовольствие. Вы не умеете? Мисс Молль вас очень быстро научит.

Но танцевать я отказался наотрез. Когда раскрасневшихся детей увели, Норден закурил сигару и, весело отдуваясь, сказал:

— Фу, устал. Не правда ли, как у нас весело?

С тех пор я почти каждый день слышал музыку наверху, иногда печальную, но чаще веселую и неуверенную: после каждой своей поездки в Петербург Норден привозил новые ноты какого-нибудь очаровательного танца, который танцует вся Европа. В Петербург он ездил довольно часто, у него там были какие-то большие дела, но ненадолго — на день, на два, не больше. Мне очень хотелось узнать, что такое делается с женою Нордена, — теперь мне казалось, что тут именно лежит разгадка той великой тоски, что покрывала дом и людей, но все попытки мои остались безуспешными. С прислугой сближаться я не хотел, да она, по-видимому, ничего и не знала, а Володя был почтительно скрытен и даже, несомненно, лжив.

— Ну что, как мама сегодня? — спросил я его. — Вы были у нее сегодня.

— Да. Мы каждое утро бываем у мамы. Мама очень жалеет, что не может с вами познако-

миться.

— Она очень больна?

— Нет, не очень. Она очень хорошо играет на рояле. У нее очень большой талант.

— А часто она плачет? — резко спросил я.

— Мама? — удивился Володя. — Нет, она никогда не плачет.

— Смеется? — сердито усмехнулся я.

— А разве смеяться нехорошо? — виновато спросил почтительнейший из учеников, ожидая, видимо, что я прочту ему лекцию о смехе, и готовый, сообразно с выводами лекции, засмеяться или загрустить. Но лекции я ему не прочел, и больше мы о маме не говорили.

Как-то ночью, вернее, на рассвете — те трое уже скребли железом, сдирая следы, — в доме случился переполох, связанный, по-видимому, с болезнью невидимой музыкантши. Что-то упало, кто-то закричал, как от страшного испуга или боли, в доме забегали огни, и в приоткрытую дверь я слышал, как Норден успокоительно говорил:

— Это ничего. Ветром оторвало ставню, и она немного испугалась. Уже все прошло.

Правда, был очень сильный, почти штормовой ветер с моря: всю ночь он выл в трубах и влажно скользил по углам дома, а иногда, как певец на

эстраде, останавливался на газоне и обвивал себя свистом и дикой песнью — но ставни все были целы, — я это видел поутру. Солгал Норден. Но в то же утро я впервые увидел и его жену: я поднял глаза к ее окнам, и за зеркальным, фальшиво поблескивающим стеклом, в сумраке комнаты, увидел такой же неверный, фальшивый образ: она стояла и смотрела на разгулявшееся, грохочущее море. И, к удивлению моему, насколько я успел рассмотреть, она была не старуха, а совсем молодая красивая женщина с большими темными провалами глаз. С дерзостью, — я теперь иногда становился дерзким с Норденом, — я спросил, сколько лет его жене? Оказалось, что ей всего двадцать девять лет и что Елена, которая утонула, была дочерью Нордена от первого брака.

III

Мой дневник, который я вел у Нордена, *кем-то* украден: по-видимому, и его коснулась все та же система сдирания следов, наивной и упорной борьбы с поверхностью. *Кто бы* ни был укравший, он ничего не достиг своим мелочным и гаденьким поступком, и благородная рука его напрасно трудилась, взламывая замок: я достаточно твердо и ясно помню события вплоть до последнего момента, когда ужас на долгие месяцы лишил меня сознания. И этих следов, отпечатленных в памяти моей, не могли бы уничтожить и те трое, что на рассвете волочат по дорожкам железные грабли.

Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта, — и серой, бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лод-

ку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень, и это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную г-жу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, не ощущаемых вблизи, но всю даль крывших безразличной мглою и полдень превращавших в серые сумерки; и вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материки песчаных отмелей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях, и, когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю.

Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее —

грохотом и ревом прибоя; на чистой поверхности песка я начертил чистое имя *Елена*, и маленькие буквы имели вид гигантских гиероглифов, взывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой; испугавшись, я зашагал прямо по лужам и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида — по случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены.

— Зачем вы здесь поселились? — в тот же вечер дерзко я спросил Нордена. — Здесь ужасно скучное море!

Норден, видимо, огорчился моим замечанием и тревожно повернул голову в сторону темного окна.

— Разве оно скучное? Нет, это неправда. Когда вы узнаете его ближе, оно очарует вас.

Оно уже и теперь очаровывало меня, но это было очарование тоски и страха, опасный и смертельный яд, от которого надо бежать… но разве поймет это Норден, — он уже рассказывает новый анекдот, и просительно заглядывает в глаза, и клещами тащит из меня нелепый, надорванный смех. И оба мы сидим глаз на глаз и смеемся

— боже мой, как это было глупо и унизительно!

Последовавшие за этим разговором дни ничем не отмечены в памяти, точно их не было совсем, и я все время спал в тоскливом без сновидений сне, а пятого декабря замерзло море и выпал первый глубокий снег. И с первым снегом, в тот же день, пятого декабря, началось то необыкновенное, что еще более сгустило для меня печальную загадку унылого места и людей и жизни и что до сих пор не понято мною и порой самому мне кажется дурным вымыслом, неудачной сказкой. Здесь приходится, пожалуй, пожалеть о дневнике с его ежедневными и точными записями, так как только в строгой последовательности их можно если не объяснить, то понять чувство нестерпимого, под конец болезненного страха, постепенно овладевавшее мной.

Постараюсь, по возможности, быть точным и не пропустить ни одной мелочи, имеющей значение или хотя бы самое отдаленное отношение к происшедшему. И особенно важным кажется мне отметить первое появление того странного, необыкновенного существа, которое как бы воплотило в себя все мрачные силы, всю тоску и темную печаль, что тяготели над несчастным и проклятым домом Нордена и меня, дотоле по-

стороннего человека, вовлекли в свой страшный водоворот.

Повторяю, в этот день, пятого декабря, выпал первый глубокий снег. Он падал всю предыдущую ночь и все утро; и когда после занятий с Володей я вышел наружу — было тихо, мертвенно-бело и прекрасно. Оставляя глубокие *следы*, я поспешно выбрался на берег и ахнул: моря не было. Еще вчера только вот отсюда начиналась его ледяная, исковерканная шквалами, тускло поблескивающая поверхность, а сегодня все было ровно, не было никаких границ, малейших задержек взору. Если б мир был нарисован на бумаге, то можно было бы подумать, что здесь позади меня кончается рисунок, а дальше идет еще не тронутая карандашом белая бумага; и с тою потребностью чертить, оставлять следы, рисунок, которая является у людей перед всякой ровной нетронутой поверхностью, я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу:

Елена.

Взглянул на пирамиду: ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами… Нет, трудно представить,

когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это, ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал: стало необычно легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педелю. А сам Норден представился просто чудаком, правда, неприятным, почему-то несчастным, но безобидным и, во всяком случае, чужим: заработаю деньжат, а там уеду, пусть живут как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют.

«А ну-ка: как теперь будешь ты со следами!» — весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрепанный. И это было так приятно: оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал; и еще, быть может, много дней, до нового чистого снега, видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен: в холодной ласке спокойного снега исчезли отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой: большие деревянные футляры, которыми Норден одел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне

были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые, деревянные ящики; некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. «Точно прерванное воскресение мертвых», — подумал я, с недоброжелательством вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практической и веселой выдумкой.

Самого Нордена уже два дня не было дома, он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном, хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо: по своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили, затихла на кухне прислуга, и где-то в верхних комнатах за их зеркальными стеклами молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я с час просидел в библиотеке, но читать не хотелось, — было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом; и, прислушавшись, не идет ли кто, я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная г-жа Норден. Двери были открыты; торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату,

потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницею вниз — про эту лестницу я и не знал; и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой, молчаливой дверью находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не поддавалась, — так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право!

Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась все глубже, проникала все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку; и снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и давеча. Но читать и в этот раз не мог и скоро с книгою в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького, защищенного крытого уголка.

Вечером, по обыкновению, я занимался в своей

комнате, писал дневник и письма и в обычный час лег в постель, но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днем; за окном, слабо защищенным тонкой белой занавеской, смутно белела ночь, — по-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный, рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске.

Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания, и окна были довольно низко над землею: ничего не стоило, поднявшись на носки или просто будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», — подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдернул занавеску… Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то и неподвижно-темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись,

я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен; я постучал пальцами по стеклу — та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица.

— Что вам надо? — негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен.

И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну погоди же, — подумал я сердито. — Я тебя поймаю!» Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить — медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямы и необыкновенно широки и что на голове у него невысокий котелок, но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного — разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть, но, пока я одевался, решение мое ослабело, и я остался, думая с притворным равнодушием: «Завтра узнаю, в чем дело».

Утром я расспросил прислугу и домашних: оказалось, никто в течение ночи не приезжал,

никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца. При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу; еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака, но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, неглубокий и несерьезный, носил все признаки тех поверий, что родятся в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство.

Ничего не добившись, я пошел заглянуть на мое окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося, — но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов, — это первое, что бросилось мне в глаза; далее, я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста: в действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего. Это обстоятельство имело

для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь, другими словами: либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как… галлюцинация. Да, галлюцинация, — вот что я подумал в конце моих наблюдений и вот что так неприятно меня взволновало.

И объяснение это было довольно правдоподобное: то напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули-таки мою нервную систему и подарили меня чудом, единственным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация… если только это не был случайный прохожий, или какой-нибудь безумец, или… Но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, нисколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и

многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть *Елену*, но этот молчаливый господин в котелке, — какое мне дело до его котелка!

Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро: чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны ни подходить к явлению. По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах, а дети танцевали, и мисс Молль кружилась, как цирковая лошадь на арене, а сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезящимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательнее вгляделся: было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден:

— Отчего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, чтобы вам не нравилось, — я буду жаловаться мисс Молль, и она вас накажет, как

дурного мальчика. А! Вы уже испугались.

Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Молль, и заставил ее смеяться и покачивать головой, и, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукою по моей руке. Но и этого показалось мало: резвясь, как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить: было и стыдно и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана, а через минуту и он, во фраке, как был, и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцуя и кружась перед темными, бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением: где я? что со мною?

Долго еще не мог успокоиться Норден и, когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в

столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера: как кружилась мисс Молль, и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все встали на колени упрашивать меня. И, доверчиво касаясь моего колена своею выхоленной барской рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не умел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно:

— Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно! Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне, вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону, — он протянул руку по направлению к морю, — может быть, и на сотни километров, и что же мы делаем, однако? Мы смеемся! И еще что мы делаем? Мы танцуем! Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать? Да, но если б они видели наш сегодняшний день!

Он расхохотался и, трепля меня рукою по колену, хохотал очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго. И пошел радоваться дальше:

— Да, если б они видели — они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами! Но позвольте: почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль! Вот блестящая мысль!

Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью: прижимал пальцы ко лбу, разводил руками, поднимал кверху глаза.

— А сегодня ночью…

Но он перебил меня:

— Да, да, конечно: мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!..

— А сегодня ночью…

Норден быстро обернулся и продолжительно, не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово, — точно замок железный повис у меня на губах.

— Вы хотели сказать?.. — вежливо наклонился он в мою сторону.

Но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал.

Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами: пора вставать! Голос был так громок, что я даже привстал на постели, — но было в комнатке пусто и тихо, и

дверь заперта, и я сразу понял, что это один из тех обманов слуха, что бывают у спящих. И уже повернувшись на правый бок, чтобы спать дальше, я вдруг вспомнил смутную тень за окном… Да, за окном по-вчерашнему стоял кто-то.

Это был *он*. Я погрозил ему пальцем, но, как и вчера, он ничего не ответил и продолжал стоять неподвижно. Теперь я ясно увидел, что он действительно обладает чрезвычайно и даже неестественно высоким ростом и стоит на земле; и, вместо того чтобы испугать, это как-то странно успокоило меня. И опять я подумал, что надо выйти во двор и поймать его, и опять при этой мысли, точно услыхав ее, он повернулся от окна и не торопясь пошел вдоль дома. Одеваться? Нет, не стоит, все равно не успею.

«Если только это… если только это, то, пожалуй, это уж и не так страшно!» — подумал я, укрываясь одеялом, почти веселый от сознания, что на сегодня все кончилось.

Но руки мои и ноги были так холодны, что прикосновение одной ноги к другой причиняло почти боль: казалось, что это не мои, а чьи-то другие, ледяные ноги лежат под одеялом. И понемногу я весь начал дрожать мелкой дрожью, как от лихорадочного озноба.

IV

В следующую затем ночь, седьмого декабря, я лег спать одетый, с твердой решимостью настичь незнакомца, схватить его за шиворот и так или иначе добиться разрешения неприятной и странной загадки. Чувства страха я не испытывал, но вполне естественное раздражение и даже гнев не дали мне уснуть; однако ожидание мое было бесплодно, и ни единая тень, ни единый звук не нарушили ночного молчания и пустоты за окном. Так же спокойно прошли следующие две ночи: никто не являлся, и с необыкновенной легкостью, удивительной при данных обстоятельствах, я почти *совсем* забыл о своем странном посетителе; редкие попытки вспомнить создавали почти болезненное чувство — так упорно отказывалась память вызывать неприятные для нее и тяжелые образы. И сон у меня после той ночи снова стал крепкий и спокойный, как всегда.

В субботу (Нордена снова не было: он уехал в город) я весь вечер сидел в его прекрасной библиотеке, рассматривал заграничные, весьма ценные художественные альбомы и с некоторой грустью размышлял о том, что мое эстетическое

развитие не стоит на должной высоте. Задумавшись о способах и средствах, как устранить этот недостаток, я забыл о времени, и когда заглянул на библиотечные, без боя, часы, было уже начало двенадцатого, а ложился я в постель редко после одиннадцати. Я заторопился и, собирая свои листочки с заметками, равнодушно и случайно заглянул в темное окно: там, возвышаясь по грудь над подоконником, стоял он и смотрел в комнату. От неожиданности я выронил заметки и, нагнувшись, стал собирать их с ковра — не без надежды, что, когда я снова взгляну в окно, его там уже не будет… Однако надежда моя не оправдалась.

Теперь при свете лампы, падавшем в окно, я смог довольно хорошо рассмотреть его лицо: спокойное и даже равнодушное, само по себе оно не было страшно. На вид ему было лет тридцать пять, черты лица крупные и правильные, ни бороды, ни усов, — лицо даже лоснилось, как будто от тщательного и недавнего бритья; только одного я не мог рассмотреть — его глаз. Они были освещены, как и все, и я их видел, но рассмотреть и понять мешал его взгляд, обращенный прямо на меня. Что было в этом взгляде, я не умею сказать: он был прям, неподвижен и давал ощущение почти физического прикосновения; и впечатление

от него было ужасно. Сколько времени он стоял здесь и так смотрел на меня? Эта мысль почему-то подействовала на мое самолюбие и вернула мне силы: он показался мне просто наглым негодяем, и, сделав шаг к окну, я что-то угрожающе крикнул. И как тогда, у окна моей комнаты, он медленно повернулся и отошел, сразу пропав в темноте ночи.

Я засмеялся и, возбужденно ходя по комнате, несколько раз громко повторил:

— Какой негодяй! Нет, только подумать, какой негодяй!

Продолжая возмущаться все более и более, я уже решил, несмотря на поздний час, разбудить лакея Ивана и работников и идти обыскивать сад, когда одна простая мысль уничтожила и ярость мою, и эти нелепые планы: я вдруг вспомнил, что библиотека, а следовательно, и окна ее находятся во втором этаже дома!

Этот вечер — в субботу, в библиотеке — стал началом дикого, лишенного цели и смысла, но упорного и систематического преследования. Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне,

завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущием. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, — вернее сказать, начиная с сумерек, так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался.

Да и можно ли было называть посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, к которому я переходил в стремлении избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную — и меня удивило, что он уже был там, успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидал меня.

По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого норденовского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети? Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услыхал где-то близко плачущий голос самой маленькой: это было так необычно, так не в порядке дома, что я остановился и наконец открыл тихо дверь,

за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Молль, ни старшего ее воспитанника не было, комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув тряпичатые ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом, а другую ручонку самая маленькая часто подносила к глазам и как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом.

— Тебя наказала мисс Молль? — спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом: так почему-то неприкосновенна и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа:

— Нет. Я сама.

— Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по комнате.

Ответа не было, но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие и круглые плечики, завиточки русых волос на

затылке выразили колебание; и я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом и уехать.

V

Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводило в круг таинственных и мрачных переживаний: у печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий.

Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инеем деревья, проволоку мимо проходившего телеграфа, каждую тонкую веточку и прутик превращали в белый мохнатый отросток какого-то невиданно красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно по-

крылся новой, белой, листвою; и тени на ветвях были так слабы, что дальние и ближние деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмотришь еще, — и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире. Это было прекрасно и необыкновенно, а когда еще солнечные желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли, и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах инея, глазам и душе становилось даже больно от красоты.

Во все эти дни *он* не появлялся, сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь, — и чувство тишины было так сильно, как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение, крик и голоса. И в эти тихие и счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных, когда земля также переставала быть той, какой я всегда знал ее, когда также царила *тишина*. И каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря, к могильному холму, и смотрел на большие и

глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначавшие чистое имя: *Елена*.

А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томилась невидимая госпожа Норден, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, и можно было подумать, что там нет живых и что совсем нет на свете никакой госпожи Норден, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, — как нет на свете Елены. О ней не говорят, но ежедневно к ней водят детей, и редко — правда, очень редко — я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки: это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь, и навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо. А горничная равнодушна, называет ее «барыня» и ничего не может рассказать о ней — или не хочет?

Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода, потемнели дни, повалил густой и словно

серый снег и покрыл холодной и плотной пеленой начертанное имя *Елена*. И вместе с дурной погодой вернулся *он*, и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем.

Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, когда появился *он*. Это было первый раз, когда *он* пришел днем и при посторонних. Стоял *он* в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег; я ясно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя: его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета; несомненно, Володя видел то же, что и я. Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и строго спросил:

— Вы видели *его*?

И он спокойно, как взрослый, солгал:

— Я не понимаю, про кого вы спрашиваете, и я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве

вы видите что-нибудь еще?

— Да.

— Что же вы видите еще?

Я знал, что он будет лгать до конца, и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и так же, постояв несколько секунд на полном виду, отошел *он* и скрылся за углом. И так же следил за ним глазами г. Норден.

— Каково? — сказал я и с некоторым усилием засмеялся.

— Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело? — с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукой моего плеча.

Но ведь он же видел, видел, я это знаю!

— Вы видели?

— Нет.

— Нет, это неправда, самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?

Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченный чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяния, я глупо крикнул:

— Я буду жаловаться!

— Жаловаться?

И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным; чуть не обнимая меня, — казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями, — Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства.

— Вас кто-нибудь оскорбил, быть может, прислуга? Но я не могу допустить этого в моем доме! Назовите имя виновного, и я немедленно… о, в этих случаях быть строгим даже культурно! Нет? Но тогда вы, вероятно, скучаете, — да, да, не отпирайтесь, я догадываюсь. Когда-то я также был молод… Ах, молодость, молодость!

Он еще долго болтал, и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною, или же и сам хочет избавиться от беспокойства, — настойчивые просьбы быть веселым и сейчас, немедленно, начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы с завтрашнего же утра начнем приготовлять; сейчас же он закажет дерево, — особенное, колоссальное дерево, сейчас же составит список покупок, сейчас же кто-то поедет в город…

Так нелепо кончился наш разговор. И последу-

ющие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою, запестрели проблесками какой-то искусственно веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят, громкого смеха, похожего на треск раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои, чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились; и я с мисс Молль и детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим, неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыкантша.

А ночью происходило следующее. Разговор с Норденом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дела так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие: в этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов

был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но *он* медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что *он* тут. Я быстро подошел к окну и отдернул занавеску: да, здесь. С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой, погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти, — и он также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шуму, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей; тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки; в темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним, наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту — и почти столкнулся с *ним*. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке всего в одном шаге от меня, был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга; *он* не делал попыток войти, не

двигался, но с каждым мгновением мне становилось все страшнее, — и, тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что *он* слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение.

В темной прихожей было тепло и уютно и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату.

VI

Тогда меня еще не покинул разум; и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем, еще не законченном убранстве елки и пошел пройтись по широкой, накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый.

Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякий знает, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступление, посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и, что самое главное, непонятное, бессмысленное и нелепое: и никакой вообще связи с *моей жизнью* не имел и не мог иметь этот уличный и в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня у окон, полюбивший

меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня? Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуждое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляюсь в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме.

Я несколько раз вслух — на дороге не было никого — повторил, как заклинание, эту фразу: я только репетитор в доме; и она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я — только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят, разве им доказывают что-нибудь? Бессмыслица, бессмыслица!

И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу, соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом: бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как? Я не знаю. А круг повторялся

снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы; и тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что *может* делаться в бедной человеческой голове. Помню, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой: даже *это* казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию.

И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно; и что было совсем радостно и заставило меня смеяться: без меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники Нордена, очень милые и очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство, и тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно-веселой — играла невидимая г-жа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пили вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали, так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколь-

ко вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю; и еще я должен указать на некоторый курьез памяти: я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные, очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного.

Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и толстая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова; и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постель и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи: томила жажда и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звало меня проснуться и встать; было мертвенно-тихо в

спящем доме, и за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял *он*. Помню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но *он* не уходил. И, уже леденея от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал *ему* рукой на дверь и по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов, долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук; и снова, как вчера, уже стоял на площадке *он* и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи; не знаю, сколько прошло времени, когда *он* вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом. Я последовал за ним и еще видел, когда *он* открывал дверь из передней в комнаты, его темный силуэт, мелькнувший на фоне далекого окна; и меня нисколько не удивило, что он вошел в мою комнату — именно в мою комнату. Вошел и я, по привычке закрыв за собой

дверь, но дальше порога не двинулся: было очень темно, я не знал, где *он*, и мог на него наткнуться. Только спустя некоторое, довольно долгое время, когда глаза мои освоились с полумраком комнаты, я увидел темное, высокое неподвижное пятно у стены; если бы я не знал, что в этом месте стена пуста, я мог бы принять это пятно за какую-то мебель или груду висящего платья. Дыхания не было слышно.

Времени прошло так много и неподвижность *его* была так ненарушима, что я начал сомневаться, и, сделав шаг вперед, далеко протянутой рукой осторожно коснулся пятна: на мгновение мои пальцы ощутили прикосновение к материи и чему-то за ней твердому, плечу или руке. Я отдернул пальцы и опять долго стоял, не зная, что я должен делать дальше; наконец я пересилил сухость в горле и громко, хотя и хриплым голосом, сказал:

— Что вам надо? Я только репетитор в доме.

Но *он* молчал, и мне стало смешно, что я сказал ему «вы». Но все же я понял из его молчания, что мне надо ложиться в постель; и я сделал это, медленно и по порядку раздевшись под его невидимым в темноте, но угадываемым взглядом, — сидел я на своей кровати, сильно

скрипевшей при моих движениях, что меня почему-то очень смущало. И уже ложась под холодное одеяло, я еще подумал, что не выставил за дверь ботинок, но решил: теперь все равно. Лег я навзничь, лицом вверх, иначе казалось невежливым; и в ту же минуту он сел, — осторожно подвинув меня к стене, — на край постели и положил свою руку мне на голову.

Она была умеренно холодна и очень тяжела, и от нее исходили сон и тоска. В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно: сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все, и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем, — все погасло в чувстве единой

и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость; погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку; и медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие полагает ограниченная действительность, медленно я погрузился в сон без сновидений.

Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда. В окно светило красноватое, морозное солнце; чувствовал я себя ни плохо, ни хорошо, а как-то пусто и плоско, и в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо — серое и некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда, но одно я знал твердо: что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное и как-то тускло меня порадовавшее наблюдение: от недавнего страха перед

загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение томительной, подступающей к горлу тошноты. Правда, в течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки.

VII

В то же утро, возвратившись с прогулки, во время которой все мы под предводительством господина Нордена играли в снежки, я ушел на несколько минут в свою комнату и написал письмо товарищу-студенту, жившему в городе. Друзей в жизни у меня не было, и этот студент не был моим другом, но относился он ко мне лучше других, был добрый и хороший человек, всегда готовый помочь. Смысл письма и чувство, с которым я писал его, было то, что я нахожусь в ужасной опасности и он должен приехать и спасти меня; но выражено все это было в очень вялой форме, звучало скукой, почти равнодушием и едва ли достигло бы цели, пошли я письмо. Но почему-то я даже не послал его, и уже долго спустя, после выздоровления, я нашел его в кармане тужурки запечатанным и без адреса. Может быть, я тогда забыл адрес? Не знаю. Даты на письме нет; и вот что в нем написано: «Дорогой М.И., если вы не очень заняты, то приезжайте сюда. Здесь что-то происходит, и меня надо взять». И подпись.

И вообще надо думать, что с этого именно дня у меня началось то странное ослабление памяти,

а временами почти полная потеря ее, вследствие которой на весь последний период моей жизни у Нордена ложится налет отрывочности и беспорядка. Я уже говорил, что я не помню ни одного лица многочисленных гостей Нордена и вижу только платья без голов: как будто это не люди были, а раскрылся, ожил и затанцевал платяной шкап; но должен добавить, что и речей я не помню, ни одного слова, хотя знаю твердо, что все, и я с ними, очень много говорили, шутили и смеялись. Совершенно не помню я чисел и до сих пор не знаю, сколько времени, сколько дней и ночей прошло до того момента, как я покинул дом, — и иногда мне кажется, что прошло не менее нескольких недель, а иногда — что все совершилось в два-три дня. И в то же время я с величайшей ясностью помню отдельные мелочи, многие свои тогдашние мысли и чувства и храню ощущение от того периода не беспамятства, а наоборот, памяти твердой и сознания вполне ясного: как будто только теперь, после болезни, я забыл, что происходило, а тогда помнил все и все сознавал.

Так, первое, чего и нельзя забыть, я помню те ночные часы, когда приходил *он* и клал мне на голову свою холодную и тяжелую руку. Эти

посещения стали как бы порядком моей жизни и каждый раз происходили при одних и тех же обстоятельствах: с вечера, когда гости расходились по своим комнатам, я одетый бросался в постель и несколько часов спал; потом в темноте шел в прихожую, открывал наружную дверь и впускал *его*, уже стоявшего на площадке. Потом мы шли в мою комнату, я раздевался и ложился навзничь под холодное одеяло, а *он* садился возле и клал мне на голову свою руку. И от руки исходили сон и тоска — сон и тоска. Страх перед незнакомцем совершенно исчез; правда, я никогда не пытался сам коснуться его или заговорить, но это не от страха, а от какого-то чувства ненужности всяких слов; и все делалось по виду так спокойно и просто, словно *он* не был величайшим злом и смертью моею, а простым, аккуратным, молчаливым врачом, ежедневно посещающим такого же аккуратного и молчаливого пациента. Но тоска была ужасна.

А потом начиналось короткое утро, лишенное света, и долгий, шумный, беспорядочный и, по-видимому, веселый вечер — очень быстро одно за другим. Не знаю, что сделали без меня с елкой, но с каждым вечером она горела все ярче и ярче, заливала светом потолок и стены, бросала в окна

целые снопы ослепительного огня. И целый день с утра до ночи раздавался непрерывный смех Нордена и его приглашающий возглас:

— Танцирен! Танцирен!

Я не помню других голосов, но этот крик до сих пор стоит у меня в ушах, преследует меня во сне, врывается в глубину моих мыслей и разгоняет их. Покрывая музыку, смех, топот ног, весь тот шум, который производят люди, собравшись для веселья, резкий, как голос попугая, он звучал во всех углах и становился невыносим. И иногда Норден кричал весело и шутливо, но часто — как мне помнится — голос становился хриплым, почти угрожающим; казалось порою, что и сам он устал, но уже не может остановиться и кричит с угрозой, почти со слезами:

— Танцирен! Танцирен!

Один такой случай я хорошо помню. Не знаю, почему вдруг смолкла музыка наверху и наступила тишина, необычайная для этого времени; не знаю, не обратил внимания, вероятно, что делали гости, собравшись у стены, залитой светом елки. Помню только самого Нордена. Вероятно, он был пьян, потому что и борода его, и волосы были в беспорядке, и выражение лица у него было дикое и странное. Он стоял посередине комнаты и,

потрясая кулаками, яростно вопил:

— Танцирен!

И кому-то грозил. Дальше была снова музыка и танцы; и в этот, кажется, вечер, именно в этот, состоялся тот самый большой, даже грандиозный бал, от которого у меня в памяти сохранился образ множества движущихся людей и необыкновенно яркого света, похожего на свет пожара или тысячи смоляных бочек. Положительно невозможно, чтобы на балу присутствовали только обычные гости Нордена: людей было так много, что, вероятно, были и другие, только на этот вечер приглашенные гости, потом разъехавшиеся. И с этим же вечером у меня связано очень странное чувство — чувство близости *Елены*: словно и она присутствовала на балу. Очень возможно, что в саду и на дворе действительно горели смоляные бочки и что я случайно или умышленно пробрался к тому месту берега, где стояла занесенная снегом пирамида, и долго думал там о *Елене*, но в тогдашнем состоянии моем вообразил себе иное — другого объяснения я не могу найти. Но это только объяснение, чувство же близости *Елены* было и остается до сих пор таким убедительным и несомненным, что всю правду я невольно приписываю ему; я помню

даже те два стула, на которых мы сидели рядом и разговаривали, помню ощущение разговора и ее лица… но тут все кончается, и теперь мне кажется минутами: стоит мне сделать какое-то усилие над памятью — и я увижу ее лицо, услышу слова, наконец пойму то важное, что тогда происходило вокруг меня, но нет — я не могу, да и не хочу почему-то сделать это усилие. Пусть лучше будет так, как оно есть. Потом *Елена* ушла и больше уже не возвращалась.

Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно: будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь, эти существа, колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот… Но не думаю, чтобы и сам Норден знал больше меня; и если он и был одним из действующих лиц, то, вероятно, не менее слепым, чем я, как свидетель. Но эти чувства и догадки, ничего не объясняющие, существовали

только днем, а ночью приходил *он* — и все: волнения и догадки, желания и воля — все поглощалось смертельной, ни с чем не сравнимой тоской. И то, что тоска приходила вместе со сном, сливалась с ним воедино, делало ее непреодолимой и ужасной. Когда человек тоскует наяву, к нему еще приходят голоса живого мира и нарушают цельность мучительного чувства; но тут я засыпал, тут я сном, как глухой стеной, отделялся от всего мира, даже от ощущения собственного тела, — и оставалась только тоска, единая, ненарушимая, выходящая за все пределы, какие полагает ограниченная действительность.

Не знаю, сколько прошло дней после необыкновенного бала, когда неумолчный крик Нордена: «Танцирен! Танцирен!» — вдруг оборвался внезапно, был поглощен хаосом каких-то других громких, беспокойных и многочисленных голосов. Так же внезапно оборвался и танец, был поглощен потоком какого-то нового движения, беспорядочного, хаотичного и печального, как печальны были голоса. Произошло это ночью, около того часа, когда должен был прийти *он*, и по характеру напомнило мне ту ноябрьскую ночь, когда была буря и с невидимой госпожой Норден случился припадок. Я проснулся и, не

знаю почему, не счел нужным выходить из комнаты; и так же равнодушно, с непонятной, но твердой уверенностью, что сегодня *он* не придет, я позволил себе раздеться и лечь в постель. Но голоса и движение по дому продолжались еще долго, и особенно настойчив был один звук: кто-то непрерывно бегал по деревянной лестнице вверх и вниз. Взбегал вверх и тотчас же, с той же стремительностью и грохотом ног по деревянной пустой настилке, сбегал вниз: и снова вверх, и снова вниз. В другое время этот беспокойный звук, говорящий о несчастье, показался бы мне мучительным и, конечно, не дал бы мне уснуть, но теперь я не думал о значении его и был даже рад: он давал мне эту уверенность, что, пока в доме шумят, *он* не посмеет прийти и я могу спать спокойно. И совсем равнодушно, без тоски и мыслей, как неживой, я быстро уснул, последним звуком унося в сон грохот пустых ступеней под тяжелой, беспокойной и торопливой ногой. Тогда я еще не знал, что *он* больше никогда уже не придет и никогда больше я не увижу широких плеч с маленькой темной головой.

Утром, когда я проснулся в обычный час, в доме было необыкновенно тихо. Обычно в этот час уже начиналась жизнь, но теперь, после беспокойной

ночи, все, даже прислуга, вероятно, еще спали, и во всем доме царила необыкновенная тишина. Я оделся и вышел в столовую, и тут увидел: на том столе, где вчера мы ужинали, лежала мертвая женщина, обряженная так, как обыкновенно обряжают покойников.

Хотя я никогда не видал госпожи Норден, но тут сразу узнал — это была она.

VIII

Не было над нею ни свечей, ни чтеца, и стояла кругом ненарушимая тишина; и от этого мне показалось в первую минуту, что никто еще в доме не знает о смерти — так одинока была она на своем ложе. Но тотчас же я понял, что все они действительно спят, и перестал думать о них. Это было не от недостатка сознания: наоборот, именно в этот час вернулось ко мне сознание более ясным, чем оно было когда-нибудь раньше. Нет, потому я перестал думать о людях, что они стали не нужны.

Она была молода и прекрасна. Нет, она не была прекрасна, но она была та, которую я знал всю жизнь и всю жизнь любил. И любил я ее, не зная, что люблю, и искал ее, не зная, что ищу. Мне не нужно было заходить с той стороны, чтобы увидеть маленькое темное пятнышко у глаза, милую родинку — я и так знал, что она есть. Мне не нужно было касаться ее тонких ледяных пальцев, сложенных на груди, чтобы увидеть их живыми, такими я их знал всегда, и не нужно было поднимать мертвых век, чтобы увидеть ее знакомый взгляд, живое сияние дорогих и вечно люби-

мых глаз. Мне жаль только ее дорогих и милых пальцев, которые должны были играть веселые, незнакомые танцы, пока там, внизу, смеялся и танцевал — смеялся и танцевал несчастный Норден. Прости его, он не знал. Прости и меня, что я чертил на песке пустое имя *Елена*: я не знал тогда твоего имени — как не знаю и сейчас.

Нет, она не была прекрасна, и никто не мог бы сказать, какая она. Но она была та, которую я любил всю жизнь, не зная, что люблю. Всю жизнь я думал о других и о другом, а о ней не подумал ни разу, — и оттого все мысли мои были ложью; всю жизнь я видел другие лица, слышал другие голоса, а ее никогда не видал и голоса никогда не слышал, — и оттого ненастоящими казались мне все люди. Только тебя одну я знал, и только тебя одну не видел ни разу.

Я не могу припомнить вполне точных выражений, но так приблизительно думал я, стоя перед мертвой. Теперь я не знаю, насколько правдиво было тогдашнее чувство мое, и больше того: я не могу вспомнить отчетливо бледного лица, на которое смотрел так долго и которое — тогда — я знал так хорошо. Но я знаю, что чувство любви, внезапно открывшей свои глаза, было тогда глубоко и непостижимо, и так же глубока была

начавшаяся тихо, но все растущая печаль. Кажется, я не сразу понял, что она мертва, и только постепенно, видя неподвижность трупа, ощущая пустоту и тишину мертвого дома, я начал чувствовать горькую и неутолимую печаль. Я заплакал и плакал долго, и так, продолжая плакать, плохо различая первые свои шаги, я вышел из норденовского дома.

Я вышел раздетый, только в одном сюртуке, без фуражки, но холода не почувствовал, да и день был не особенно морозный, иначе я, конечно, замерз бы в пути. На дорогу я не пошел, но, миновав сад с его глубоким снегом, выбрался на берег и оттуда дальше в море. На льду снег был почему-то не так глубок, идти было легче, и уже скоро я оказался далеко от берега, в центре пустынного, ровного и белого пространства. Плакать я перестал, ни о чем не думал и только шел, с каждым шагом точно растворяясь в пустоте белой и безграничной глади. Ни дороги, ни следа ноги, ни темного пятна не было передо мною и вокруг меня; и когда я, начиная уставать и поддаваться холоду, приостанавливался на минуту и озирался кругом — всюду было то же пустынное, ровное белое пространство, почти сама пустота, какою ее можно видеть только во сне. И скоро мое

движение вперед приобрело все черты долгого и однообразного сна, покорной и безнадежной борьбы с неодолимым пространством; так, вероятно, грезят измученные, оглохшие лошади к концу далекого пути и те особенные люди, что ходят из конца в конец земли и тягучим ритмом своих шагов гасят сознание жизни. Время от времени слой снега утолщался, ноги вязли в глубоких сугробах, и я останавливался, минуту смотрел вокруг и говорил:

— Какое горе! Какое несчастье!

Говорил я эти слова с таким выражением, как будто убеждал кого-то, и глаза мои, которыми я смотрел на бесконечную плоскую равнину, казались мне такими же белыми, мертвыми, ничего не отражающими, как снег. Но это было еще в начале пути, когда я что-нибудь говорил, — потом я совсем умолк и двигался и останавливался молча.

Долгое время холод совсем не был заметен, и голове и груди было даже приятно от острого ощущения воздуха, как бы отделявшего платье от тела, и просто, без боли и неприятного, стали неметь руки в локтях и ноги в коленах — трудно становилось сгибать их. Но я не думал и не понимал, что замерзаю, и все шел, внимательно

разглядывая снег под ногами, и снег был все один и тот же. И сколько я ни поднимал и ни опускал ногу, снег был все один и тот же. И наступила ли ночь действительно, или мрак шел изнутри меня — все вокруг меня начало медленно и тихо темнеть, из ровно белого превращаться в ровно серое, стало совсем не на что смотреть. А когда совсем не на что смотреть, то это слепота: я так тогда это и понял и дальше, не знаю сколько, шел уже слепой. Момента, когда я упал и началось беспамятство, я не помню.

* * *

Больше сказать мне нечего.

Как передавали потом, меня нашли на льду и спасли рыбаки: случайно я упал на ихней дороге. В больнице у меня отрезали несколько отмороженных пальцев на ногах, и еще месяца два или три я был чем-то болен, долго находился в беспамятстве. У Нордена умерла жена, и он прислал денег на мое лечение. Больше о нем я ничего не слыхал. Также не появлялся с той ночи *он* и, я знаю, больше никогда и не появится. Хотя, приди он теперь, я, может быть, встретил бы его с некоторым удовольствием.

Дело в том, что я почему-то умираю. Они всё

допрашивают меня, что со мной и почему я молчу и отчего я умираю, — и эти вопросы — сейчас самое трудное для меня и тяжелое; я знаю, что они спрашивают от любви и хотят помочь мне, но я этих вопросов боюсь ужасно. Разве всегда знают люди, отчего они умирают? Мне нечего ответить, а они все спрашивают и мучают меня ужасно. Живу я сейчас с М.И. — товарищем, которому я писал, — он очень любезен и через неделю, в конце мая месяца, хочет везти меня куда-то в деревню. Это все хорошо, я ничего не возражаю, но не нужно все время спрашивать, не надо говорить так много. Как мне объяснить ему, что молчание — есть естественное состояние человека, когда сам он настойчиво верит в какие-то слова, любит их ужасно.

Вчера вечером мы ездили на острова. Там очень хорошо, было много гуляющих. Вышла в море, несмотря на ночь, какая-то яхта с очень белыми парусами и долго еще виднелась на горизонте.

Да: кажется, нужно еще добавить, что я не люблю ни Елены, ни госпожи Норден и совсем не думаю о них. Теперь всё.

1913 г.